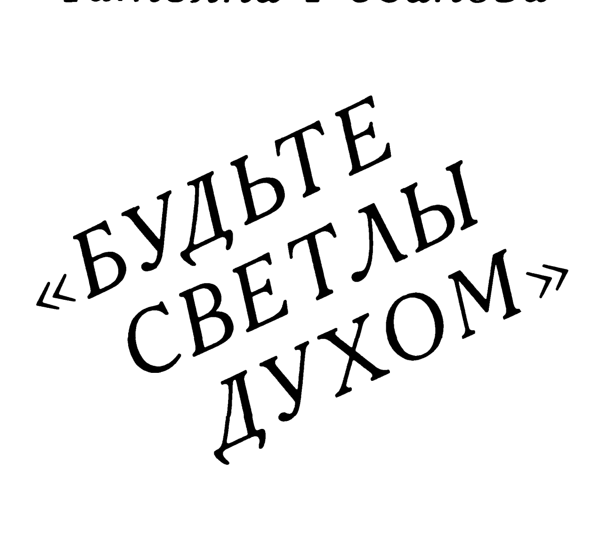
Татьяна Розанова



«Будьте светлы духом»

Серия "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ"

Татьяна Розанова



(Воспоминания о В. В. Розанове)



Москва 1999

ББК84 Р6
Р65

Розанова Т. В.
Р65 "БУДЬТЕ СВЕТЛЫ ДУХОМ". (Предисловие и составление А. Н. Богословского) – Москва: Издательство "Blue Apple", 1999.– 183 с., Ил. 9

ISBN 5-7946-0014-4

Жизнь замечательного русского мыслителя, философа, писателя В. В. Розанова, на долгие годы вычеркнутого из культурного обращения, представлена впервые в публикуемых воспоминаниях его дочери, Татьяны Васильевны Розановой (1895–1975).

Из книги читатель узнает много нового о ранних годах жизни В. В. Розанова, прочитает отрывки из неизданного юношеского дневника, узнает о неудачной женитьбе писателя на А. П. Сусловой – "инфернальной лире и фурше Ф. М. Достоевского".

Особенно ценной представляется картина семейного быта Розановых и напряженная атмосфера петербургской жизни, о встречах В. В. Розанова с знаменитыми современниками – Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, Н. А. Бердяевым, П. А. Флоренским, П. П. Перцовым, А. С. Сувориным, Айседорой Дункан.

ISBN 5-7946-0014-4

ПРЕДИСЛОВИЕ

О своем отце — замечательном русском писателе Василии Васильевиче Розанове (1856—1919), трагической судьбе всей семьи старшая дочь его Татьяна рассказала в воспоминаниях, которые сейчас приходят к читателю. Пишет Татьяна Васильевна просто, но, как тонко заметил поэт и литературный критик, исследователь творчества Розанова — Ю. П. Иваск, в самом тоне повествования чувствуется удивительный ум сердца. И этот редкий дар Татьяна Васильевна несомненно унаследовала от отца, глубокого мыслителя и, может быть, единственного писателя, читая которого слышишь его живой голос.

Литературная судьба В. В. Розанова оказалась теснейшим образом связанной с семейной трагедией, роковым образом исказившей жизненный путь писателя.

В. В. Розанов родился 20 апреля 1856 г. в Ветлуге. Потеряв в раннем детстве отца и мать, он оказался на попечении старшего брата. Розанов с трудом учился в гимназии — казенное преподавание его отталкивало, и живую душу юноши, склонного к мечтательности, спасало, оцеломудривало чтение. Позднее Василий Васильевич признавался, что больше всего книг ему удалось прочесть в старших классах гимназии и в университете. В гимназии он зачитывался „Очерками из истории народных сказаний“ Грубе, античной мифологией; рано были прочитаны „Литературные мечтания“ Белинского; любимым писателем юноши Розанова еще с шестого класса гимназии стал Ф. М. Достоевский.

В 1878 г. Розанов поступил на первый курс Московского университета, на историко-филологическое отделение. Университет он „проспал“, и просыпался, оживал только на лекциях чтимых им ученых: Ф. И. Буслаева, Н. С. Тихонравова, В. И. Герье, Н. И. Стороженко, Ф. Е. Корша. „Больше и вспомнить некого“, — признавался он позднее *.

На третьем году обучения в университете Розанов получил разрешение на брак с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой, женщиной незаурядной, с сильным независимым характером. Известно, что А. П. Суслова была большой любовью Ф. М. Достоевского. Знал это и Розанов, что и усиливало его интерес к ней. Прототип Сусловой — Полина в „Игроке“ Достоевского и, как считал Розанов, некоторые ее черты Достоевский придал Аглае в „Подростке“ и Дуне в романе „Преступление и наказание“.

Разрешение на брак было получено Розановым 9 ноября 1880 г., но роман с Сусловой начался много раньше. В письме А. С. Волжскому (1906 г.) Розанов писал: „С Сусликой я в 1-й раз встретился в доме моей ученицы

* В. В. Розанов. Опавшие листья, кор. I. СПБ, 1913, с. 452—453.

Ал. Мих. Щегловой (мне 17, Щегловой 20—23, Сусловой 37): вся в черном, без воротничков и рукавчиков (траур по брате), со „следами былой“ (замечательной) красоты... Острым взглядом „опытной кокетки“ она поняла, что „ушибла“ меня, — говорила холодно, спокойно“. Розанову она показалась одновременно и раскольницей „поморского согласия“, хлыстовской богородицей и „русской легитимисткой“, Екатериной Медичи. „На Катьку Медичи она в самом деле была похожа“. Зимой 1881 г. Розанов женился на А. П. Сусловой. В год женитьбы ему шел двадцать пятый год, ей было за сорок.

По окончании Московского университета в 1882 г. Розанов получил место учителя в Брянской гимназии и уехал с женой из Москвы. Брак с Сусловой был несчастливым, супруги ссорились, и часто после семейных ссор Розанов покидал дом и на время переезжал в гостиницу, — чтобы продолжать работу над книгой „О понимании“. Его увлечение философией и литературой не встретило сочувствия у жены, она пренебрежительно отзывалась о литературных опытах Розанова. И хотя однажды она уехала из Брянска в Орел на пять месяцев, все же удалось сохранить брак, „но затем пламенное примирение сменилось равнодушием, равнодушие переходило в ссоры, миры становились короче, ссоры — длиннее, и уже быстро ничего не осталось от горячо, с величайшими надеждами заключенного брака“. После очередной ссоры в 1866 г. Суслова уехала из Брянска в Москву, откуда Розанов получил от нее письмо, что он больше ее никогда не увидит.

Семейная драма совпала с первой серьезной литературной неудачей: книга „О понимании“, изданная в Москве в 1886 г. (Розанов работал над ней пять лет), прошла незамеченной. „В провинции, — писал Василий Васильевич, — я испытал истинный ужас, когда мне прислали обратно из магазина куль не продавшихся книг „О понимании“ (было отпечатано 600 экз.); а другой такой же куль, грозивший то же, получится в Ельце, — я попросил родственника продать на Сухаревой „за что-нибудь“, и было продано что-то рублей за 15, — на обертку для „серии современных романов“. „Вообще никому не нужно“ *.

В Ельце, куда Розанов перевелся из Брянска в 1887 г. и где он учительствовал в гимназии до 1892 г., он еще некоторое время ждал, что Аполлинария Прокофьевна все же вернется, но раз принятое решение о разрыве Суслова не изменила.

Духовное и душевное одиночество, состояние, близкое к отчаянию, переживал Розанов в 1886—1889 гг. — „годы пустой жизни, бессмысленной, тягостной“. В конце 1889 г. он определенно помышлял о самоубийстве и писал о своем намерении Н.Н.Страхову, с которым познакомился весной того же года **.

И все же в Ельце Розанову было немного легче жить, чем в Брянске, где и „одинокие безмолвные стены“ и все напоминало об Аполлинарии Прокофьевне, о разбитой жизни.

Но в том же мрачном 1889 г. в Ельце Розанов встретился с Варварой Дмитриевной Бутягиной, которой суждено было стать матерью его детей и разделить с ним мучительную судьбу, полную тягостных испытаний и лишений.

---

* В. В. Розанов. Литературные изгнанники. СПБ, 1913, с. 216.

** Там же, с. 208.

Навещая своего друга учителя И. Ф. Петропавловского, жившего в доме дьяконницы Рудневой, Розанов познакомился с ее дочерью Варварой Дмитриевной молодой вдовой, и сразу его поразила „чистота душевной атмосферы", „уклад древней благочестивой русской жизни", так что Василий Васильевич, в гимназические годы прошедший путь нигилизма и отошедший от Церкви, снова потянулся к вере, к церковности. „Безмерное уважение превратилось в любовь, не страстную, не бурную: но основанную именно на мысли, что вот — друг, который никогда не изменит. Мое положение женатого человека было, конечно, известно: и отсутствие какого-либо выхода из него сделало скорбным наше положение": Суслова упорно отказывалась дать развод.

Препятствие, казавшееся непреодолимым Варваре Дмитриевне и ее матери, — людям церковного сознания, глубоко укорененным в православии, — брак с женатым человеком — помог устранить „решительный и смелый" священник, который взялся тайно обвенчать молодых. Позднее, в письме к митрополиту Антонию, Розанов вспоминал этот решающий день в жизни: „Мы вошли в церковь в воскресенье в час дня под предлогом осмотреть ее — он (священник) запер ее на ключ — и без внешней робости с вещами (потом пожертвовал в другую церковь) он истово нас повенчал и, повенчав, сказал мне трогательное слово, что я должен жену мою такую усиленно беречь, потому что она отдается в мою совесть, и нет у нее другого обеспечения: и мы вышли. Как нас старушка встретила! (Еще как она молилась, нас отправляя в церковь: никогда такой горячей, порывистой, минутной молитвы не видел. И во-истину, все слава Богу". (Из письма митрополиту Антонию).

После свадьбы Розанов с Варварой Дмитриевной некоторое время жили в Москве на Воробьевых горах, а затем он получил место в гимназии в г. Белом Смоленской губ. — из Ельца, где многие знали о тайном браке, о двоеженстве Розанова, пришлось уехать.

В начале 90-х годов о Розанове узнают в литературных и философских кругах Москвы и Петербурга, главным образом благодаря Н.Н.Страхову, с которым он постоянно переписывался; Страхов напечатал одобрительные отзывы о первых литературных выступлениях Розанова. В 1890 г. выходит в свет брошюра В.В.Розанова „Место христианства в истории". Ее появление привлекло внимание Вл. С. Соловьева, поместившего отзыв в журнале „Русское обозрение" (1890). В 1891 г. в журнале „Русский вестник" была напечатана книга Розанова „Легенда о Великом Инквизиторе". Однако большая работа Розанова „Сумерки просвещения" (1893), в которой он критически оценил всю систему народного просвещения в стране, вызвала раздражение министра народного просвещения графа Делянова, обострила конфликт с руководством учебного ведомства и заставила его оставить преподавательскую деятельность.

По совету Н. Н. Страхова и с помощью Т. И. Филиппова Розанову удается в марте 1893 г. получить место в Государственном контроле; около 15 мая 1893 г. он вместе с Варварой Дмитриевной и падчерицей Алей переезжает из Белого в Петербург. В 1893 г. у Розановых родилась дочь Надéжда, но жить ей суждено было недолго, в том же году она умерла.

В Петербурге Розанов сильно бедствовал — небольшое жалованье чиновника и скудные редкие гонорары за статьи годами держали семью писателя в тисках жестокой нужды. „В это время степень материальной нужды моей дошла до крайней степени (100 рублей в месяц при плате 37 за квартиру)" *.

---

* В. В. Розанов. Литературные изгнанники. СПБ, 1913, с. 380.

„Мать писала жене (узнал через несколько лет, когда уже все кончилось): „Не доводи до нужды мужа, — скрывай все, не расстраивай его". И она, пока я считал в контроле, сносила все в ломбард, что возможно. И все — не хватало. Из острых минут помню следующее. Я отправился к Страхову, — но пока еще не дошел до конки, видел лошадей, которых извозчики старательно укутывали попонами и чем-то похожим на ковры. Вид толстой ковровой ткани, явно тепло укутывавшей лошадь, произвел на меня впечатление. Зима действительно была нестерпимо студеная. Между тем каждое утро, отправляясь в контроль, я на углу Павловской прощался с женой: я — направо в контроль, она — налево в зеленную и мясную лавку. И зрительно было это: она — в меховой, но короткой, до колен, кофте. И вот увидев этих „холено" закутываемых лошадей, у меня пронеслось в мысли: „лошадь извозчик теплее укутывает, чем я свою В.", такую нежную, никогда не жалующуюся, никогда не просящую. Это сравнение судьбы лошади и женщины и судьбы извозчика и „все-таки философа" („О понимании") переполнило меня в силу возможно-гневной... души таким гневом „на все", „все равно — на что", — что... Можно только многоточие. Все статьи тех лет и может быть и письма тех лет и были написаны под давлением единственно этого пробужденного гнева, — очень мало в сущности относимого к тем предметам, темам, лицам, о которых или против которых я писал. Я считаю все эти годы в литературном отношении испорченными *.

22 февраля 1895 г. родилась Татьяна — любимая дочь Розанова. И хотя Василий Васильевич был безмерно счастлив и считал рождение дочери благословением небес (вслед за Таней родилась Вера (26 июля 1896 г.), Варя (1 января 1898 г.), сын Вася (28 января 1899 г.) и дочь Надежда (9 октября 1900 г.), в сущности здесь были истоки трагедии Розанова и его семьи.

Как незаконнорожденная дочь Варвары Дмитриевны Татьяна не могла носить фамилию отца. В духовном завещании, составленном 1 марта 1899 г., Розанов писал: „Дочь Татьяна, родившаяся 22 февраля 1895 г., крещена при С.-Петербургской Введенской, что на Петербургской стороне, церкви. Восприемниками от купели были: действительный статский советник Николай Николаевич Страхов и жена чиновника особых поручений при министре земледелия и государственных имуществ Ольга Ивановна Романова. Как считающаяся незаконнорожденной полное имя, отчество и фамилия, усвояемая по имени крестного отца, есть Татьяна Николаевна Николаева".

Дочери Розанова Вера, Варя и сын Василий, также считавшиеся незаконнорожденными, получили фамилию и отчество от имени их крестного отца лейтенанта морской службы Александра Викторовича Шталя — Вера Александровна Александрова, Варвара Александровна Александрова, Василий Александрович Александров.

Временами Розанов чувствовал, что почва уходит из-под ног, перед ним разверзается бездна. Жена, дети, жизнь любимых, бесконечно дорогих людей — все существование семьи зависело, в сущности, от слепой случайности. Умри он сейчас, Варвара Дмитриевна не могла бы рассчитывать на получение пенсии. Что же могло ждать его малолетних детей? Никто не может помочь, обращения в консисторию бессмысленны — слушать не хотят. „Как мне сказал Рачинский: „И Государь ничего не может сделать", — так меня и ударило обухом по лбу: „А, и Государь. И Он — ограничен. Боитесь помочь,

---

* В. В. Розанов. Литературные изгнанники. СПБ, 1913, с. 385—386.

говорят ему: ты не смеешь помочь. Вот как. Значит — высоко. Где? Кто? Церковь!". Вот начало всего...". (Письмо митрополиту Антонию).

Трудные семейные обстоятельства совпали в эти годы с творческим кризисом Розанова. „В 1895—96 я определенно помню, что у меня не было тем. Музыка (в душе) есть, а пищи на зубы не было. Печь пламенеет, но ничего в ней не варится. Тут моя семейная история и вообще все отношение к „другу" и сыграло роль. Пробуждение внимания у юдаизму, интерес к язычеству, критика христианства — все выросло из одной боли, все выросло из одной почки. Литературное и личное до такой степени слилось, что для меня не были „литературы", а было „мое дело", и даже литература вовсе исчезла вне „отношения к моему делу". Личное перелилось в универсальное" *.

В 1899 г. Розанов уходит из контроля и становится сотрудником популярной газеты „Новое время". Начинается долголетняя, неутомимая борьба писателя за свою семью и за русскую семью тоже. Годами вел ее Василий Васильевич в печати, главным образом — на страницах „Нового времени", где помещал статьи об облегчении разводов, о признании прав незаконнорожденных детей, защищал отверженных обществом, обойденных, униженных и оскорбленных. И эта борьба получила незамедлительный отклик: возник разговор между писателем и читателями о браке и разводе. Сотни читателей и читательниц, горькая судьба которых была столь сходной с судьбой его семьи, писали в редакцию газеты, прямо Розанову. И Розанов публиковал их письма в газете; в журналах, отвечал им и помещал в книгах переписку не только с знаменитыми современниками, но и с малознакомыми и вовсе неведомыми душами, обожженными в жизненном пожаре. Известность Розанова в начале века становится поистине всероссийской. В своей одинокой борьбе он затронул не только законы империи и уставы консистории — он кропотливо изучал состояние семьи в древнем мире, главным образом на Востоке, сравнивал с положением семьи христианской и приходил к неутешительным выводам. Пол, находивший освящение в дохристианских культах, семья, покоившаяся на твердом основании в заповеди о святости размножения — пережили свой цветущий период. После победы христианства — пол как бы попадает под проклятие, семья у европейских народов начинает неуклонно умаляться. Теплота, душевность, связь между родителями и детьми постепенно исчезают из семьи, и европейская семья все больше приобретает характер формального договора, в современном браке, по Розанову, утрачено ощущение тайны и таинства, и супруги уже не чувствуют себя тайнотворцами. Из такого фактического состояния Розанов сделал далеко идущие выводы: христианство прокляло пол, умалило брак по сравнению с девством, поставило монашество над семьей. Все законы и правила о браке и разводе в христианском мире были выработаны в веках монахами, отрешившимися от семьи, от ее нужд и забот, от рождающего человечества. Так последовательно, шаг за шагом, выступая сначала против законов и правил о браке и разводе, Розанов повел борьбу с учением Церкви, с христианством, он стал антагонистом Христа.

Летопись этой борьбы, ее патетика, взлеты и падения запечатлены в книгах Розанова „Религия и культура" (1898, 1901), „В мире неясного и нерешенного" (1901, 1904), „Семейный вопрос в России" (т. 1—2, 1903), „Около церковных стен" (т. 1—2, 1906), „Темный лик" (1911), „Люди

* В. В. Розанов. Опавшие листья, кор. II. СПБ, 1915, с. 363—364.

лунного света“ (1911), в многочисленных статьях, рассеянных в газетах и журналах.

Недавние друзья, писатели консервативного направления, С. Ф. Шарапов, С. А. Рачинский враждебно восприняли розановские статьи о поле и браке, в полемике против Розанова выступили профессора духовных академий и священники на страницах церковных изданий и в заседаниях СПБ религиозно-философского общества (1901—1903). Розанова обвиняли в отступлении от христианства, в бунте против Христа. Его новым друзьям — сотрудникам журнала „Мир искусства“ и участникам символического движения Д. Мережковскому, З. Гиппиус, Н. Минскому, Д. Философову импонировала розановская критика исторического христианства. Д. Мережковский назвал Розанова „мыслителем самородным, первозданным в антихристианской сущности, явлением более грозным для Церкви, чем Лев Толстой“ и вместе с тем предтечей нового религиозного сознания *.

Известность, литературная слава, более твердое материальное положение семьи не принесли радость и успокоение измученной душе писателя — годами в ней жила непрерывная боль. О неутихающей боли, сомнениях и смертной тревоге Розанов доверительно рассказал на страницах замечательной книги-исповеди „Уединенное“ (СПБ, 1912) и в „Опавших листьях“ (кор. I—II, СПБ, 1913—1915). Рассказал с поразительной искренностью об утешении, которое находил в семье; ее столпом, нравственной опорой была Варвара Дмитриевна, но он не мог назвать ее женой и потому называл Другом. Семья была для Василия Васильевича „малым храмом бытия“, а любимицей его была дочь Таня. Родители любили Таню особенной любовью, может быть потому, что она рано повзрослела, быстро проникла, погрузилась в трагическую атмосферу розановского дома.

„В рубашонке, запахивая серый (темно-серый) халат, Таня быстрым, торопящимся шагом подходит к письменному столу. Я еще не поднял головы от бумаг, как обе ее руки уже обвиты кругом шеи, и она целует в голову, прощаясь:

— Прощай, папушок... Как я люблю слушать из-за стены, как ты тут копаешься, точно мышка, в бумагах...

И смеется, и на глазах всегда блестит взволнованная слеза. Слеза всегда готова у ней показаться в ресницах, как у нашей мамы.

И душа ее, и лицо, и фигура похожи на маму, только миньятюрнее.

Я подниму голову и поцелую смеющуюся щечку. Она всегда в улыбке, между улыбкой и слезой.

Вся чиста как Ангел небесный, и у нее вовсе нет мутной воды. Как и вовсе нет озорства. Озорства нет от того, что мы с мамой знаем, что она много потихоньку плакала, ибо много себя ограничивала, много сдерживала, много работала над собой и себя воспитывала. Никому не говоря“. **

Сестры Тани — Вера, Варя, Надя и брат Вася замечали особенное отношение родителей к старшей дочери, не хотели с ним примириться, бунтовали, когда Таня старалась приучать младших к порядку, следила за чистотой. Надежда Васильевна Розанова вспоминает: „Таня — любимица папы и мамы, — у нее отдельная комната, которую мама всю неделю держит запертой на

---

* Д. С. Мережковский. Религия Л. Толстого и Достоевского. СПБ, 1903, с. XX.

** В. В. Розанов. Опавшие листья, кор. I, с. 308—309.

ключ (до ее приезда из школы Левицкой, в субботу), чтобы мы, дети, туда не забрались и не навели бы ей беспорядка, — и мама к ее приезду ставит в вазочку живые цветы... Таня никогда не шалит, всегда о чем-то советуется с мамой, и к нам, детям, относится, как к неодушевленным предметам, то целует, тискает и поет при этом глупую песенку своего сочинения: „Что бывает лучше, как пороть детей!", а то вдруг заволнуется, накричит и велит наказать. За это мы на нее злимся и ее боимся больше мамы и папы. Они все сделают так, как Таня скажет... Кроме того, она помешана на чистоте, не доверяет никому и присутствует за нашим вечерним умыванием. Когда мы размещаемся в кроватях, Таня быстро обегает нас всех, тормоша, покрывая короткими, частыми поцелуями наши головы, спины, ноги, среди запыхания, и смеха, от чего мы всячески стараемся освободиться. Но, внезапно обеспокоившись, она откидывает одеяло и тут обнаруживает наши грязные пятки! Она всплескивает руками и испускает крик ужаса! „Вы совершенные дикари, — кричит она пронзительным голосом, — вы определенные дикари, и вас следует отдать в воспитательный дом". И как мы ни убеждаем ее, что это природный цвет нашей кожи, Таня уже несет таз с губкой и с остервенением принимается за мытье. А то поймает, посадит рядом и тут сразу вынимает шпильку и начинается пытка — чистка ушей! Как она нас донимала!" (Неизданные воспоминания).

26 августа 1910 г. семью Розанова постигло несчастье — тяжело заболела Варвара Дмитриевна, частично парализованная, она временно потеряла речь. Все произошло после переезда на новую квартиру на Звенигородской улице (дом 18). Больную из столовой принесли на балкон; растерянные дети сбились в кучу.

„Когда я приоткрыла дверь в одну из комнат, — то увидела папу... Он лежал ниц перед иконой и рыдал. Казалось, что кто-то подрубил ему ноги, и он всем телом рухнул на пол.

Стоя в церкви, я никогда не видела отца „молящимся", то есть чтобы молитва разливалась по лицу (как у мамы). Обернешься на папу, — он стоит, скрестив руки, с расширенными зрачками, пронзительно всматриваясь и вслушиваясь в то, что совершается в церкви, весь охваченный идеей, но не молитвой. А рыдающим я его никогда не видала ни до, ни после. Здесь же вырвалась отчаянная мольба к Богу..." (Воспоминания Н. В. Розановой).

Болезнь Варвары Дмитриевны сильно подействовала на Розанова: в какой-то момент он ощутил тщету всех человеческих усилий, с особой ясностью открылась вдруг конечность земного существования. Перед лицом смерти половые грезы о мире вдруг стали ненужными, лишними, религии молодости и силы (так он определял дохристианские культы) не приносили радости и успокоения больной, потревоженной душе. „Я говорил о браке, браке, браке... а ко мне шла смерть, смерть, смерть". * „Я нуждаюсь только в утешении и мне нужен только Христос... (Язычество и юдаизм на ум не приходят)". **

Перед мысленным взором писателя предстали эпизоды его долголетней распри с Церковью, с христианством, и сейчас она представилась ему неправедной, почти безумной, по существу, утверждает Розанов, то была борьба не против Христа, а с буквализмом, законничеством в христианстве, с ветхозаветным его пониманием — за христианство постигаемое в духе и истине.

---

* В.В.Розанов. Уединенное. СПБ, 1912, с. 261.

** В.В.Розанов. Опавшие листья, кор. II, СПБ, 1913, с. 356.

„Я не хотел беззакония, а хотел закона. Я хотел, чтобы все было правильно, ясно, по закону, как Он хотел, сказавший: не человек для субботы, а суббота для человека...

Нет, от Христа я не ушел. Сказавший о субботе и о человеке дал бы гармонию, ясность и закон. Он не просто „простил блуднице".., а принял помазание ног своих блудницею, сказав: „О сем будет вспоминаться всегда, где будет проповедано Евангелие". Т. е. Он ее как-то умирил, ввел в гармонию, дал ей место в царстве и иерархии христианской, и видя и не видя ее порок, но во всяком случае видя ее лицо и душу.

Вы, господа, вообще не видите души человеческой и лица человеческого; вы именно „господа" и „милостивые государи", а нисколько не священники, и уж не понимаю, с каким духом „отпускаете грехи"...

Суть в том, что вы „субботники", а не христиане, и что до сих пор еще „суббота" вам выше всякого „человека". *

В предельном одиночестве, пустоте и холоде жизни только дочь Татьяна душевно и духовно была близка Розанову, по его собственному признанию, только с ней он был связан метафизически. Может быть, потому, что только она понимала отца так, как он хотел быть понятым.

В ощущении Тани отец был не „страдающим боготворцем", гонимым и непонятым умственной чернью, толпой (таким он представлялся Вере Розановой), а маленьким, слабым, одиноким человеком, существом, нуждающимся в бесконечной жалости и сочувствии.

Надежда Васильевна так вспоминает о своей старшей сестре: „Мы раздражали ее (Таню) своей живостью, а она докучала нам своей грустью. В сущности, у нее почти не было "детства", и мы в 16 лет прозвали ее „бабушкой"... Если мы все стремились уйти из дому, в котором всегда было как-то грустно, и порезвиться на стороне, то Таня стремилась как можно больше быть дома и непременно с родителями.

Таня с детства много читала: сначала увлеклась книгой Евгении Тур „Мученики Колизея", „Слепым музыкантом" Короленко, затем долгие годы не расставалась с томиком Пушкина, еще позже открыла для себя мир Достоевского, Шекспира; после окончания гимназии она собиралась заняться изучением философии: штудировала Канта, читала труды Н.Лосского, и как-то незаметно, но органически от философии перешла к систематическому чтению отцов Церкви, может быть, потому, рано прилепилась душой к Церкви — весь духовный строй православия был созвучен ее миропониманию с детства.

Возвышенная духовная настроенность дочери, стремление ее посвятить жизнь служению Церкви и ближним наполняло гордостью и радостью душу Розанова. Из имения Сахарна (в Бессарабии), где он отдыхал летом 1913 г. с медленно выздоравливавшей Варварой Дмитриевной и дочерью Варей, Василий Васильевич писал: „Милая и дорогая наша Танечка! Что-то взгрустнулось по тебе и очень, очень я скучаю и даже тоскую, что не вижу дорогого худенького личика и таких добрых глазок, как ни у кого, и не слышу твоего взволнованного голоса...

Больше всего меня радует, что ты любишь Церковь. Без этого мы не можем понять России, а русский человек, не знающий России, может только ей

---

* В.В.Розанов. Неизданное. — „Вестник РХД", № 126. Париж, 1978, с. 88.

вредить, и таких, к сожалению, большинство молодых людей. Они все упоены собою и все хотят служить народу, призывая его к революции, но это кончается только тем, что несчастных рабочих и мужиков ссылают, а молодые люди убегают за границу и оттуда показывают язык.

Все это так глупо и вместе так трагично, что было бы странно, если бы с нашими детьми что-нибудь подобное произошло" (Воспоминания Надежды Розановой).

В августе 1917 г. из революционного Петрограда Розанов с семьей перебирается в Сергиев посад. Здесь, около церковных стен, Розанов рассчитывал пережить тяжелые времена, надвигающуюся бурю. И естественным образом маленькой хозяйкой небольшого домика стала Татьяна, поскольку Варвара Дмитриевна продолжала тяжело болеть. Она вела не только хозяйство, но прежде всего духовно поддерживала потрясенного происходящими событиями и слабеющего от недоедания Василия Васильевича.

Болезнь, слабость и голод не могли сломить неукротимый дух писателя. Грозные тучи, стелящиеся над Россией и миром, как будто придавали ему новые силы. В „Апокалипсисе нашего времени" Розанов оплакивает гибель уходящей, былой России, которая гибнет от нигилизма, от неуважения себя, — „С лязгом, скрипом и визгом опускается над Русской историей железный занавес". Он вновь возвращается к острой критике исторического христианства, угашающего радость жизни и светлый взгляд на мироздание, вновь пытается решить так и не решенный вопрос — где же истина — в Ветхом Завете или Новом? „Иегова или Иисус — который же из Вас" — вопрос, вечной болью звучавший в душе писателя неотступно преследует его вплоть до порога земного бытия. Но вместе с уходящим миром, с христианством, оттесненным на периферию бытия, рушился для Розанова и весь смысл его жизни. Не представлялась ли ему в иные минуты призрачной его жизнь и пафос многолетней борьбы за русскую семью? Он мечтал о возрождении русской семьи в лоне Церкви, а дожил до радикального декрета о браке и семье в сентябре 1918 г., отменявшего церковный брак. По новому декрету „свободным становилось вступление в брак и развод". „Семья, — провозглашала А. Коллонтай — перестала быть необходимой. Не нужна государству, ибо отвлекает от полезного обществу труда, не нужна членам семьи, ибо воспитание детей постепенно берет на себя государство". *

Неумолимая судьба готовила новый удар. 9 октября неожиданно умирает в Курске сын Розанова Василий, поехавший вместе с сестрой Варей на Украину за продуктами для семьи.

К этому времени вместе с родителями оставались Таня и Надя. Еще в 1915 г., с согласия Василия Васильевича и Варвары Дмитриевны, Вера становится послушницей Воскресенско-Покровского монастыря на станции Плюсна близ Луги. Она с трудом несет тяготы монастырского послушания и может оказывать семье лишь незначительную помощь. Она остро чувствует, что несравненно большее бремя выпало на долю ее старшей сестры Татьяны, отдавшей все силы на поддержание родителей. Упреки, тревога, горячая благодарность и восхищение мужеством сестры звучат в ее письмах из монастыря другой сестре — Надежде:

„Но если Таня может и исполняет свой долг, то считаю, что нельзя оправдать Ваше неисполнение". (3.1.1918).

---

* М. Геллер, А. Некрич. Утопия у власти. Лондон, 1989, с. 60.

„Теперь нет мечты, теперь есть подвиг". (Март 1918).

„Какое у Тани настроение? Поцелуй ее крепко и скажи, что я ее очень люблю и очень благодарна за поддержку семьи". (31.8.1918).

„Бедную Таню мне очень жаль, она истинная подвижница. Истиным настроением монашеским повеяло мне от ее спокойного среди всех испытаний письма, выдержанного, проникнутого глубокой верой и любовью. Я бесконечно ее люблю и уважаю". (Осень 1918).

Любовь, тепло, понимание и бесконечная нежность, которой окружили писателя все домашние в последние дни его жизни уже не могли спасти Розанова. 23 января (5 февраля) 1919 г. Розанов умер. Перед смертью он в последний раз примирился с Церковью, у всех просил прощения и принял Святое причастие.

О дальнейшей судьбе семьи Татьяна Васильевна подробно рассказывает в своих воспоминаниях, и нет смысла повторять историю горестных потерь близких, утраты дорогих могил, скитальческой жизни, полной нищеты, лишений, гонений. Об испытаниях и перенесенных страданиях она написала очень сдержанно, с большим достоинством, всегда отличающим глубоко верующего человека.

Татьяна Васильевна завершила работу над воспоминаниями в конце своей жизни. Она по-прежнему жила в Загорске и занимала небольшую узкую комнату в коммунальной квартире на проспекте Красной Армии. Хотя она часто болела, и повседневные житейские мелочи угнетали ее, была очень деятельна, много читала, переписывалась с друзьями, каждый день была за службой в Лавре. Сильную духовную поддержку ей оказывал священник и профессор Духовной академии отец Алексей Остапов. Изредка приезжала Татьяна Васильевна в Москву, где ее с любовью встречали и поддерживали старые верные друзья — Лидия Александровна и Ника Александровна Воскресенские, Татьяна Михайловна Некрасова и вся ее семья, Зоя Михайловна Цветкова. Появились у нее в те годы и молодые друзья, открывшие для себя Розанова, читавшие и переписывавшие его труднодоступные книги и статьи, стремившиеся лучше понять духовный мир забытого писателя через общение с его дочерью. Большую помощь при работе над воспоминаниями оказала Татьяне Васильевне Клеопатра Владимировна Агеева. Под диктовку Татьяны Васильевны она записала первый вариант воспоминаний, на основе которого сложился окончательный текст.

Имя Розанова в советской России долгое время было полузапретным. О нем вспоминали не иначе как о монархисте, нововременце, мистике-реакционере и черносотенце.

На Западе, хотя и не часто, переиздавались книги Розанова в русских издательствах , а также в переводах на французский, английский, немецкий языки. О значении его идей в русском духовном и культурном ренессансе начала XX века говорили и писали Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Бердяев, А. Ремизов, Л. Шестов, о. В. Зеньковский, о. Г. Фроловский, Г. Федотов, Н. Лосский, Г. Адамович, Ю. Иваск.

Если удавалось Татьяне Васильевне получить ненадолго одну из русских западных книг с воспоминаниями или статьей о Розанове, она старательно переписывала отрывки в особую общую тетрадь, а когда тетрадь заканчивалась, — начинала новую. Читала и писала обычно по ночам, спала мало, иногда отдыхая днем час-другой.

В начале 1971 г. Татьяна Васильевна с захватывающим интересом прочла воспоминания Зинаиды Николаевны Гиппиус „Живые лица", в особенности главу, посвященную Розанову — „Задумчивый странник". Тогда же она прочла вступительную статью Юрия Иваска к „Избранному" Розанова, вышедшему в Нью-Йорке в 1956 г. По ее словам — и воспоминания З. Гиппиус и эссе Ю. Иваска — лучшее, что было написано о Розанове и в России и на Западе. В свою тетрадь Татьяна Васильевна переписала обе работы от начала и до конца, несмотря на поврежденную правую руку. Ей показались досадными несколько фактических ошибок, допущенных Гиппиус и Иваском. Татьяна Васильевна отправила письмо с поправками в „Вестник русского христианского движения". В 1972 г. в № 106 и было напечатано ее письмо. Через несколько месяцев Татьяна Васильевна неожиданно получила письмо от Юрия Иваска с благодарностью за поправки и с просьбой уточнить некоторые обстоятельства жизни Василия Васильевича и его близких. Он просил также Татьяну Васильевну написать биографию отца, чтобы в дальнейшем ошибки не перекочевывали из одной работы в другую. Уступая настойчивым просьбам Иваска, Татьяна Васильевна передала рукопись воспоминаний для публикации на Западе. Весной 1975 г. в №№ 112—113 „Вестника РХД" по желанию Розановой была опубликована пятая глава ее воспоминаний о последних днях жизни Василия Васильевича с приложением предсмертных писем. Незадолго до смерти Татьяна Васильевна получила номер журнала и убедилась, что труд ее жизни не был напрасным. Она готовилась продолжить работу, собиралась составить комментарии к „Уединенному" и „Опавшим листьям".

Резкое ухудшение здоровья и последовавшая короткая, но тяжелая болезнь нарушили все планы. 11 мая 1975 г. Татьяна Васильевна скончалась в Москве.

Таня рано обрела литературное бессмертие; на страницах „Опавших листьев" возник и запомнился читателю образ девочки, взволнованно читающей стихотворение Пушкина на берегу моря.

Мысленно обращаясь к будущим поколениям русских людей, Розанов писал:

„Мне хотелось бы, чтобы меня некоторые помнили, но *отнюдь не хвалили*; и только при условии, чтобы помнили *вместе с моими близкими*.

Без памяти о них, о их *доброте, о чести* — я не хочу, чтобы и *меня помнили*".*

Знакомя читателей с воспоминаниями Т. В. Розановой, мы отдаем дань памяти В. В. Розанову и его многострадальной семье и возвращаем истории важный памятник культурной жизни русского общества XX века.

А. Н. БОГОСЛОВСКИЙ

---

* В. В. Розанов. Уединенное. СПБ, 1912, с. 76.

ГЛАВА 1

МОЛОДЫЕ ГОДЫ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ

Начинаю свои воспоминания с дневника отца моего, Василия Васильевича Розанова. Дневник сохранился с гимназических лет 1871 года.

„Я родился в Ветлуге Костромской губернии. Отец мой был добр, честен, простодушен, — но вместе с тем не был слабого характера. Я лишился его на третьем году жизни. Он умер, получив простуду, когда гонялся в лесу за мошенниками, губившими лес (он был лесничий). Мамаша долго (в продолжении трех лет) горевала и дала обет никогда не выходить замуж. Она была убита смертью мужа и отца семейства. Семь человек детей осталось на руках ее; восьмой вскоре должен был появиться на свет. В Костроме, в гимназии, учились: старший брат Николай, третий брат Федор и старшая (годом моложе Коли) сестра Вера. Коля подавал блестящие надежды. С поступлением в первый класс, он постоянно шагал первым. Сестра постоянно была второй ученицей. Ни одно прилежание, — было причиной ее успехов, безупречная скромность и превосходное поведение, — были причиной всеобщего к ней уважения.

Сестра Павла, брат Федор, Дмитрий, я, Сергей и родившаяся сестра Любовь были с матерью. По смерти папаши она продала большую часть своего имущества и переехала в Кострому. Я помню, как мы голодали по целым неделям. Дня по три мы питались печеным луком. Просили хлеба у приезжающих к нам мужиков-угольников. Не забуду по гроб случая, когда мы, найдя где-то грош, послали Сережу купить четверть фунта черного хлеба. Это было в Великом посту.

Верочка, тихая, скромная, любящая уединение, не любящая гулять по бульвару, слабая — не вынесла всех этих страданий и умерла через год после выхода из гимназии“.

Впоследствии, я вспоминаю, как в разговорах за обеденным столом отец часто обращался к событиям своей жизни. Он рассказывал, что мать его происходила из обедневшего дворянского рода Шишкиных, о чем она любила с гордостью вспоминать. Об этом писал Василий Васильевич в „Опавших листьях", короб. 1, стр. 235—238.

Отец рассказывал и о том, что мать его, продав почти все свое имущество, могла купить в Костроме небольшой деревянный дом. Матушка его, хотя и дала обет не выходить более замуж, после трех лет не выдержала и сошлась с молодым художником, который являлся как бы отчимом для всех восьмерых детей. Он был человеком озлобленным, часто пил и детям жилось очень плохо. Мать болела в конце своей жизни раком и от этой болезни умерла. Как мне помнится, по рассказам отца, он учился два года в Симбирске, а затем его взял к себе старший брат, Николай, в Нижний Новгород, где он был преподавателем и, кажется, вместе с тем и директором гимназии. Отец окончил гимназию в Нижнем Новгороде. Затем брат Николай продолжал материально помогать отцу, когда тот уже поступил в Московский университет на юридический факультет, на историко-филологическое отделение.

По сохранившимся записям дневника отца видно, что его с детства волновали религиозные вопросы: „Еще и прежде в мою бедную голову западала мысль, — что нет Бога, — но тогда я тотчас же в слезах бежал к моей доброй мамаше и простодушно говорил ей, что невидимый демон хочет погубить меня".

Вот, еще строки из его дневника:

„Часто, во время длинных, лунных ночей, когда приветливые звездочки весело мерцают в беспредельной голубой лазури небес — часто думаю о Боге. Иногда вместе с этими мыслями — воспоминания о прошедшем толпились в моей голове. Глядя на чудные небеса, я вспоминаю подобные же ночи, которые проводил года два тому назад в кругу родной семьи. Я мысленно сличаю того Василия, который два года назад глядел на эти же неподвижные звезды, — и на Василия теперешнего. Сравнивая мое прежнее и настоящее религиозное чувство, припоминая частные случаи моей жизни, я всегда прихожу к одному простому убеждению — что это светлое чувство все более и более вытесняется из моего сердца и впечатлительного ума".

В старших классах гимназии и в студенческие годы его, по-видимому, захватили и научные вопросы. На странице 70-й дневника отец записал: „Мне хотелось быть философом и общественным деятелем", а на странице 77-й (1872 года 11 августа) следующая запись: „Мне приходит на ум, когда я читаю или рассматриваю звездное небо, — отчего это у нас нет хорошей небесной карты".

„Далее сегодня я тоже думал, почему это у нас не составят атласа, который бы наглядно изображал историю земли и историю органического развития на ней. Тоже недурно было бы составить атлас геологии, показывающий строение земли, различные земли, минеральные граниты и прочее. Ведь это было бы великолепно!

Хорошо бы составить карту, показывающую качество почвы во всей земле (части света). И карту того, чем занимаются люди, и карту промышленности, и карту морских течений, и карту ветров и ураганов, — кстати, хорошо было бы составить целый атлас по метеорологии и прочее, по физике, в которой содержались бы все физические явления, рисунки всех машин, инструментов, препаратов и прочее, с показанием, как с ними надо обращаться".

В письмах отца к Голлербаху есть такие интересные строчки: „К чертам моего детства (младенчества) принадлежит: поглощенность воображения. Но это не фантастика, а задумчивость.

Мне кажется такого „задумчивого мальчика" никогда не было. Я вечно думал, о чем — не знаю. Но мечты не были ни глупы, ни пусты".

. . . .

Продолжаю рассказ об отце. Переехав в Москву, он жил одно время в комнате с Любавским, а затем с Вознесенским Константином Васильевичем, своим университетским товарищем. В университете он числится стипендиатом им. Хомякова. Отца считали способным к научной работе и предложили ему остаться при университете. Но отец отказался, так как был убежден, что не может читать лекций по самому складу своего характера и по слабости голосовых связок.

К концу своих университетских занятий он знакомится в 1878 году с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой. Так в своем дневнике он записывает свои отношения с ней: „Декабрь, 1878 год. Знакомство с Аполлинарией Прокофьевной

Сусловой. Любовь к ней. Чтение. Мысли различные приходят в голову. Суслова меня любит и я ее очень люблю. Это самая замечательная из встречающихся мне женщин. Кончил курс.

Реакция против любви к естествознанию и любовь к историческим наукам, влияние Сусловой, сознание своих способностей к этому, возможность много сделать, но не воздыханием...“

Отец по окончании университета (1882 г.) был назначен в город Брянск в неполную четырехклассную гимназию учителем по истории и географии. Затем оттуда переведен в город Елец преподавателем и воспитателем в старших классах гимназии. В это время он уже был женат на Сусловой. Университетский товарищ отца рассказал нашей маме, что „когда папа венчался на первой своей жене — Сусловой, то она (Суслова) шаферами пригласила его и Любавского. Был среди них Белкин, красивый, Аполлон Бельведерский; он и говорит: „Давайте увезем Ваську“ (от венца), но они не решились, так как были приглашены и должны были свою должность исполнять“. Женитьба на Сусловой была в 1880 году.

Товарищи моего отца верно угадали положение дел. Брак с Сусловой был несчастен. В Ельце уже начались неприятности между Сусловой и моим отцом. Она всячески насмехалась над его работой и ему, со своей рукописью „О понимании“, приходилось уходить в номер гостиницы, дописывать ее. Начал он ее писать в 1881 г., а напечатана в 1886 г. Книга э т а была очень большая, в 700 страниц, с большими диаграммами и схемами. О ней дали два плохих отзыва в печати и что она написана под влиянием Аристотеля. Перед написанием этой книги Василий Васильевич совместно с преподавателем гимназии Первовым сделал впервые перевод „Метафизики“ Аристотеля. Первов перевел с греческого на латинский, а отец мой с латинского на русский. Об этом уже гораздо позднее, в наше время, упоминалось в прессе, как о первом и труднейшем переводе „Метафизики“ Аристотеля.

Книгу „О понимании“ не стали покупать, а отец, нуждаясь в деньгах, продал ее на бумагу, на вес с пуда. А между тем, для того только, чтобы издать свою книгу, он откладывал по двадцать пять рублей ежемесячно из своего учительского заработка. Суслова презрительно относилась к этой его работе, очень его оскорбляла и в конце концов бросила его. Это был большой скандал в маленьком провинциальном городе. Об их

отношениях имеется письмо отца, к кому, не помню. Письмо это передано мною в Государственный литературный музей.

До женитьбы моего отца на Аполлинарии Прокофьевне Сусловой, она была одной из сильных увлечений Достоевского. Он изобразил ее в своей повести „Игрок". Аполлинария Прокофьевна Суслова была старше моего отца почти на двадцать лет. Когда-то она была, как папа пишет в том письме, очень красивой, но характер, как он говорил нам, был у нее невозможный. Она уехала от него, не давая ему развод, несмотря на то, что он для получения его, брал всю вину на себя. Сохранились письма В. В. Розанова о Сусловой. Они находятся в Государственном литературном музее.

В это время отец был морально убит, гимназисты над ним смеялись; особенную дерзость проявил мальчик Пришвин. Отец на педагогическом совете требовал его исключения. Его исключили, и потом, как мы узнали, юноша этот убежал не то в Америку, не то в Германию и там работал.

В это время отец мой знакомится в Ельце с моей матерью — Варварой Дмитриевной Бутягиной и с ее маленькой дочерью Шурой от ее первого брака. Она жила в то время со своей матерью Александрой Андриановной Рудневой, вдовой священника. Отец сразу же ее очень полюбил, стал бывать у них в доме, а затем совсем переехал к ним на квартиру в качестве жильца. Он настаивал на браке, снова стремясь получить развод от Сусловой. Но ничего не получалось, та отказывалась дать развод, а бабушка не соглашалась отдать дочь без церковного брака. Таким образом отец оказался двоеженцем, что наложило печать на всю нашу дальнейшую жизнь и оторвало нас от наших родных. Эту трагическую историю он описал в конце жизни в книге под названием „Смертное" *. Это было в 1891 году.

Отец, ухаживая за моей матерью, подарил ей свою фотографию. На обороте была надпись:

> „Мое и Ваше прошлое было грустно. Настоящее у нас хорошо. Станем же поддерживать друг друга, жалеть и не осуждать за взаимные недостатки, чтобы и будущее стало для нас не хуже".

Внизу на фотографической карточке надпись:

---

* Напечатана в пятидесяти экземплярах. Один экземпляр находится в Государственной библиотеке им. Ленина.

„Варваре Дмитриевне Бутягиной от преданного, любящего и уважающего друга Василия Розанова“.

Елец, 1889 г. — мая 25. *

А вот надпись на другой фотографии В. В. Розанова, подаренной моей матери:

„Варваре Дмитриевне Бутягиной от глубоко уважающего В. Розанова. Одной из тех праведниц, чистой и благородной В. Д. Бутягиной“.

Елец, 5 июня 1889 г.

На своей карточке, где его узнать нельзя, столько скорбных складок на лице, он написал на обороте следующие слова:

„Много, много, свет мой, путь мой, расправила ты морщин на этом лице. Не таково оно было в 1890 году. Ты христианка в любви. Никто не умел так сочетать любовь женщины, чувство женщины с самопожертвованием христианским, как друг мой, подруга моя. Спасибо тебе, дорогая. Спешу в Эртелев переулок **. Но ведь ты знаешь, куда бы я не поспешал и где бы ни был, около тебя ведь душа моя, около твоих худеньких ручек худенького личика. Прощай, мой Ангел.

Да хранит тебя Бог, как ты меня в жизни хранила с 1891 по сей 1899 год. Твой вечно, любящий муж Вася Розанов. Варваре Дмитриевне Розановой“.

Официально фамилии этой она никогда не носила. Брак был незаконный, так как первая жена не давала развода. Подробности этого дела описаны отцом в книге: „Смертное“. (1899 — 8 мая, СПБ.“) ***

В 1901 году отец мой подарил маме моей свою книгу „В мире неясного и неразрешенного“ с надписью:

„Дорогому моему покровителю и защитнику, который никогда не сказал слова поперек, а по глазам ее всегда видел, если что не нужно было делать, —

* Эта фотография находится в Государственном литературном музее в Москве.

** В Эртелевом переулке находилась редакция „Нового Времени“.

*** Фотография находится в библиотеке им. Ленина в Москве.

и всегда ее слушался, как совести своей, жене моей Варюше Розановой."

СПБ., 1901 — 21 февраля *

„Флоренский, — писала Надя в 1918 году, — посоветовал мне, как-нибудь написать, что мама говорит, считая ее язык очень красочным и изобразительным, и я решила как-нибудь записать.

Мама рассказывала, а я сидела в отдалении и записывала. Мама говорила Вознесенскому Константину Васильевичу, папиному университетскому товарищу, с которым он одно время жил в одной комнате: „Мать моя детей учила, сама безграмотная была. Приехал Иннокентий (знаменитый архиепископ Херсонский, он приходился родственником бабушке моей. Прим. *Т.Р.*), он любил к нам приезжать на лошадях... „Когда, Александра Андриановна, дети приходят?"

— „Никогда, никогда не приходят", — растерялась она.

Иннокентий спросил: — „Сколько они тебе платят?"

— „Три рубля в год", — отвечала мать.

— „Так пусть они к тебе никогда не приходят, я тебе буду присылать"...

И присылал.

Да он скоро умер".

. . . .

„Когда я к Василию Васильевичу ходила, он меня только черным хлебом угощал и чаем с молоком. А на столе у него бутылка водки стояла и штопор на самом видном месте, а сам никогда не пил.

К нему учитель-француз, пьяница, приходил — Марисонка, для него и покупал... устраивал, вино покупал, фрукты покупал... уважал его.

Тюлевые занавески я купила, повесила. Он обстановку любил, угостить любил. Навоз для топки покупал, вместо воза, сорок возов, на весь дом. Так и отапливал".

. . . .

„Ложки серебряные, мое приданое, мать от Иннокентия (преосвященного) получила в наследство, одеяло пикейное и дюжину ложек серебряных, с ними я и замуж выходила".

. . . .

* Книга пожертвована в библиотеку им. Ленина.

„Папа ухаживал за мной странно, неуклюже и смешно. В платке снялась с папой. В нем и замуж выходила. Папа в Москву поехал, привез мне крест с голубой эмалью и цепочку, и обручальное кольцо, и потом два ситца на капот, — один полосатый, другой желтый, кремовый с разводами, — по двенадцати аршин. Я лучшей портнихе отдала“...

. . . .

„Василий Васильевич часто квартиру менял. Сначала в доме Рогачевых, в флигельке, на Успенской улице (В Ельце), потом перешел против Покровки (Покровской) — две комнаты имел, а потом уже к нам, против Введенской церкви. С ним Коля племянник жил“.

. . . .

После истории с незаконным браком с моей матерью и исключением Пришвина из гимназии, отцу пришлось уехать из Ельца и в дальнейшем наша жизнь была довольно замкнута, потому что семейные люди почти у нас не бывали. Отец перевелся в город Белый преподавателем в неполную гимназию. Он очень тяготился жизнью в этом городе; сначала там был директором брат его Николай, а затем брат перевелся в другой город, а отец стал хлопотать о переводе в Петербург на службу в Государственный контроль, где в то время директором был Тертий Иванович Филиппов — славянофил. Перевод этот был устроен Н. Н. Страховым по просьбе отца, так как отец стремился уйти от педагогической деятельности и заняться литературной работой. Но жилось ему на первых порах очень тяжело. Тертий Иванович Филиппов, интересуясь литературой, часто звал отца к себе в гости. Отец тяготился своим подчиненным положением и был несвободен в своих высказываниях. А главное, невольно сравнивал свое бедственное материальное положение с благоустроенной жизнью начальника. Он даже часто был несправедлив к Тертию Ивановичу, которого многие хвалили за его широкие литературные интересы и за его доброжелательное отношение к подчиненным. В это время уже была написала Василием Васильевичем книга, — „Сумерки просвещения“, в которой он подвергал резкой критике постановку научного образования в России. Возврат к педагогической деятельности был закрыт. Средств было мало. Родилась дочь Надежда, * а кроме того росла падчерица Шура.

* Названа в память матери отца.

Надя, которую отец так безумно любил и так ею гордился, умерла рано — ей было всего восемь месяцев. Отец убивался очень ее смертью и считал, что у него больше не будет детей. По словам отца, Надя умерла от туберкулезного менингита. Похоронена она на Смоленском кладбище в Петербурге. Мы ежегодно весной всей семьей ездили на ее могилку, которая была посыпана песочком и обложена мелкими камешками, а близ была могилка блаженной Ксении, которую до сих пор чтут и поминают церковно.

Карточка, на которой он снят с нею, всегда стояла на его письменном столе. Теперь эта фотография находится в библиотеке им. Ленина с чудесным автографом:

„Дорогой моей Наде, когда она будет большая, любящий отец 22 июля 1893 года. С.Петербург, Петербургская сторона, Павловская улица, дом 2, кв. 1. В. Розанов.

Заповеди ей-же

1. Помни мать.
2. Поминай в молитвах отца и мать.
3. Никого не обижай на словах и паче делом.
4. Поминай в молитвах бабушку Александру, которая приехала к твоим родам и выучила тебя аукать и подавать ручки.
5. Помни сестру Александру и тетку Павлу, которые любили с тобой возиться и играть и баловать тебя.
6. Береги свое здоровье.
7. Ума будь острого, учености посредственной, сердца доброго и простого.
8. Ничего нет хуже хитрости и непрямодушия, такой человек никогда не бывает счастлив.

Ну, прощай, 11 ч. ночи, писать пора.

Мама твоя читает „Петербургский листок“. Все мы счастливы; что-то будет потом.

Еще раз твой любящий отец Василий.

Все говорят, что ты и я сняты тут точь в точь похожи, и что всегда бываешь такая, когда я держу тебя на руках (люблю с тобой обедать и чай пить).

Это написал тебе на память, если буду жить или умру“.

ГЛАВА II

НАШЕ ДЕТСТВО

В 1895 году родилась я. Отец был безмерно счастлив и носил меня на руках. А когда меня крестили, боялся, что меня уронят. Это рассказывала впоследствии Евдокия Тарасовна Александрова, присутствовавшая при крестинах.

При крещении родители мои, усердно молясь, положили три записочки у образа Божией Матери с именами Татьяны, Натальи и еще с каким-то именем. Вынули записочку по жребию и дали мне имя Татьяна. Это уже когда я подросла, рассказывали мне родители.

Свое детство я плохо помню.

Вспоминаются какие-то отдельные отрывки из нашей семейной жизни, но один вечер я живо помню. Горит электрический свет, мы все сидим в столовой за общим столом. На темно-коричневых обоях, на бордовых шнурах, в черных рамах, спускаются картины античного мира. Здесь и „Афинская школа“ Рафаэля, и „Аполлон“, и „Венера Милосская“, и „Гермес“. Куда девались потом эти картины — я не знаю, но я очень хорошо их помню. Где-то внизу, сбоку, висит и портрет Н. Н. Страхова. Папа рассказывает о нем, о его тяжелой болезни (он умер от рака десен) и с каким терпением и мужеством он уходил из жизни. Какой это был вообще замечательный человек! Отец очень грустен и сидит понуро, опустив голову.

Первый раз я слышу слово: „смерть“. Я теряюсь и сердце мое сжимается пронзительной жалостью к моему умершему крестному отцу.

Что это? То ли отец вспоминает день смерти Страхова, то ли это был самый день смерти; не знаю. Если день смерти, то это значит — мне один год, так как Н. Н. Страхов был моим крестным отцом, а я родилась за год до его смерти. Это очень

удивительно, случай этот я помню очень ярко, как будто это было на днях.

Нет, наверное это было позже, скорее всего в 1904 году, когда мы уже жили на Шпалерной улице, но точно не уверена, а может, оба случая соединились в одно и оставили острую память о себе, — тем более, что отец часто вспоминал Страхова с любовью, нежностью и глубоким уважением.

Вспоминается из раннего детства наша поездка в Аренсбург, на дачу. Мы ехали на пароходе по Балтийскому морю, помню бурю на море, серо-зеленые волны, ударяющиеся в окна каюты, мне страшно и я молюсь Богу, чтобы миновала опасность.

В Риге помню благотворительный базар, помню немецких, надменных баронесс, которые все явились в ситцевых платьях. Папа говорил: „Посмотрите, как они бедно оделись, это они выражают презрение к русским".

Нас было тогда у родителей трое детей и ездили мы с бонной Эммочкой, которую мои родители очень почитали, и которая вскоре по приезде в Петербург заболела сыпным тифом, была увезена в Обуховскую больницу и там скончалась. Ее милый портрет многие годы висел у нас в детской, в плюшевой рамочке. В настоящее время он куда-то затерялся.

Эта поездка мне очень запомнилась, так как мама там впервые серьезно заболела сердцем. И было это в 1900 году, как удалось мне восстановить по папиной записи, где упоминается моя младшая четырехлетняя сестренка Вера, которая несла папе ягодку.

„Ладонь все еще держит лодочкой, —
разжимает пустую и говорит:
„Папочка. Я тебе несла, несла ягодку,
и потеряла".

Эту сценку отец записал спустя 15 лет в своей записной книжке, вспоминая о ее доброте.

Помню себя маленькой девочкой, в детской. Стою около корзины с игрушками и что-то мне очень тоскливо, капризничаю. Вдали сидит мама, кто-то стоит, но это все в тумане. Потом вспоминаю, как мы в Петербурге переезжали на другую квартиру, на Звенигородскую улицу — тянется шесть или семь подвод, на одной из них восседает торжественно толстая няня Паша; уже должна родиться у мамы третья сестренка Варя.

Еще помню, как мы сидим с мамой в детской, на низеньких стульчиках, а мама показывает занимательные картинки из Библии (иллюстрации Дорэ, как я теперь помню) и рассказывает нам чудесные библейские истории (все картины были в черном цвете). Вот „Изгнание Адама и Евы из Рая“, „Авель и Каин“, „Приношение Авраамом в жертву своего сына Исаака“. Мой ужас. Мама, чуть не плача, признается: „Бога я очень люблю, но вас, моих маленьких деток, я не могла бы принести в жертву“. И как я маме за это благодарна, как я ее люблю, и как она нас любит!

Помню картину: „Бегство из Содома семьи Лота“, его жену, превратившуюся в соляной столб, „Дочь Фараона, склонившуюся над младенцем Моисеем“, „Пустыню“, „Медного змия“ и толпу евреев около него.

Все это на всю жизнь запечатлелось в моей памяти, а также жалостные, горячие рассказы моей матери.

В каком году, — не помню, кажется в 1903, мы ездили летом в Саров. За год до нашей поездки были открыты мощи преподобного Серафима Саровского; еще стояла деревянная позолоченная арка, воздвигнутая в честь приезда государя с семьей на открытие мощей.

Мама задумала эту поездку, тревожась за мое слабое здоровье и крайнюю нервность. Мы поехали вчетвером: папа, мама, я и брат Вася. Ехали до Тамбова поездом, а оттуда до Сарова — лошадьми. Перед этим был дождь, дорога была размыта, лошади с трудом шли, кругом стояли чудесные сосновые леса.

Приехав в Саров и остановившись в гостинице, мы пошли в храм, где стояли мощи преп. Серафима и шли молебны. Мама повезла меня в исповедальню к старенькому священнику-монаху и сказала мне, что я должна на все перечисленные грехи говорить — грешна. Так как перечисление грехов было страшное, а я многих слов совсем не понимала, монах взглянул на меня недоуменно, но потом, видно, понял, что мать моя, желая, чтобы я искренно исповедалась и не пропустила греха, так меня научила. После исповеди священник меня ласково погладил по головке и отпустил. Мы пошли в церковь. Она была богато обставленная и блестела позолотой и чистотой. Шла всенощная. Все помню ясно. Это была моя первая исповедь в жизни.

На другой день мы ходили за три версты в пустыньку Серафима Саровского, где был источник, и где, по преданию,

преп. Серафим провел 1000 дней и ночей на камне в молитве. Видели и камень, весь источенный болящими богомольцами. Преп. Серафим, по преданию, сам выкопал колодец. В этот колодец шла лесенка, по ней мы спустились в купальню. Вода была студеная и животворная.

Ездили мы из Сарова в Понетаевский монастырь, который был основан учеником Серафима Саровского — Тихоном, и который как-то отделился от Сарова. Об этом папа рассказывал маме. Храм был очень обширный, богатый, монахи пели прекрасно. На обратном пути мы остановились в деревне, нам вынесли большую кринку чудесного молока. Женщина певучим голосом рассказывала о многочисленных исцелениях у раки преп. Серафима. Особенно много слепых исцелилось.

Так закончилась наша поездка в Саров, которую папа описал в своих работах.

Не помню точно, в этом же году или ранее, мы ездили с отцом и матерью в город Ярославль к архиепископу Ионафану — дяде моего отца. Отец очень почитал и уважал Ионафана. Помню, что он уже был больной, на покое в Спасском монастыре. Грустил, что не может совершать богослужения по немощи физической; боялся, что он уронит чашу со св. Дарами. Папа огорчался, что церковное начальство не дало ему помощника и не разрешало служить обедню.

Как мне было жаль „дедушку“!

Он вынес мне шоколадную конфету, и с такой доброй улыбкой угостил меня, что я и сейчас помню этот случай. А прошло с тех пор 67 лет!

Да, мне было очень жаль старенького „дедушку“, и я все расспрашивала родителей о нем.

Вскоре он умер и был захоронен под алтарем Спасского монастыря. Проездом в Саров мы заезжали вновь в Ярославль, ходили в Спасский монастырь, спускались с церковным служителем в склеп под алтарем церкви, чтобы поклониться праху этого достойного пастыря.

Сохранилась ли его могила, — не знаю. Сравнительно недавно, примерно в году 1957, я читала в „Троицком листке“ биографию архиепископа Ионафана, где рассказывалось о его большой благотворительной церковной деятельности. При его содействии и на его средства была создана семинария в Ярославле, он жертвовал много личных средств на украшение храмов города и на его общее благоустройство. Когда мы ехали по городу в трамвае, я обратила внимание на чистоту города,

запомнился мне и трамвай, так как ни в Петербурге, ни в Москве их еще тогда не было.

„Дедушка“ поразил мое детское воображение и память о нем жива до сих пор.

В нашей семье сохранилась фотография архиепископа Ионафана, а на обороте фотографии была надпись моего отца:

> „Ионафан Архиепископ Ярославский, очень добрый, купил Шуре рояль, прислал через товарища по семинарии чиновника Писарева денег маме, когда она лежала в больнице в тифу, и все время присылал плату за учение в гимназии Шуре.
>
> В.Розанов“. *

В раннем детстве вспоминается мне, на Петропавловской улице маленький мальчик: „Мася“. Он любил со мною играть во дворе нашего дома. Сам он жил с матерью — вдовой и братишкой в белом двухэтажном доме. На фоне этого дома он и заснят со мною и моей матерью на фотографии. Приезжал он к нам и на дачу уже маленьким кадетиком, кажется, в Гатчину. Помню, у него болели тогда глаза и мне его было так жаль! Последний раз он был у нас на Шпалерной улице, на мои именины. Мне было лет десять, ему — четырнадцать. Взрослые в этот вечер танцевали, меня он не пригласил на вальс, я горько расплакалась. Это было мое первое детское горе, которое я не забыла до сих пор...

Мама мне помнится еще молодой, красивой, статной, с прекрасной каштановой косой вокруг головы. Помню, как она собирается с папой и старшей моей сестрой Алей в театр на „Руслана и Людмилу“. Я спрашиваю, что такое театр? А папа говорит, что будут показывать большую голову, мертвую, которая потом заговорит. Я думаю, что же они такие веселые, нарядные, а это так страшно! Мама в сером костюме, в шелковой белой блузке — такая красивая. Сестра в белом нарядном платье с искусственной розой, приколотой у пояса. А папа в сюртуке и очень важен и серьезен.

Мама озабочена, оставляет нас на няню Пашу, велит нам не шалить. Но как только родители уехали, все двери в квартире настежь и начинается игра „в разбойники“. Паша

---

* Шура — падчерица В. Розанова, мама — жена В. Розанова, В. Д. Бутягина. Фотография эта с автографом В. Розанова пожертвована в Московскую Духовную Академию.

должна изображать разбойника, а мы убегаем, прячемся и кричим. Она нас ловит и должна нас туго вязать веревкой, в этом вся соль игры. Стулья все повалены, в комнатах полный беспорядок, няня замучилась с нами. Когда родители приезжают, видят в ужасе эту картину и нам, конечно, попадает.

Заводилой в этих играх была я. Но были и другие игры — спокойные. В детской ставились стулья подряд, связывались веревкой. Это был поезд. Мы куда-нибудь уезжали. Впереди на стуле сидел Вася, он был машинист, а мы, пассажиры, — садились на другие стулья с поклажей. Так мы сидели часа два тихо и спокойно ехали. Но потом нам надоедало, мы разбрасывали в разные стороны стулья, ссорились, поднимали шум, и папа сердился у себя в кабинете.

Квартиры в Петербурге у нас были большие, часто менялись, так как отец не переносил ремонтов в квартире, и поэтому, когда вставал вопрос о необходимости ремонта, — подыскивалась новая квартира, и мы вновь переезжали. Так с 1899—1904 мы жили на Шпалерной улице, с 1905—1910 в Казачьем переулке, с 1910—1912 — на Звенигородской улице, с 1912—1916 на Коломенской улице. Поблизости, на Кабинетской улице была гимназия Стоюниной, куда отдали остальных сестер и где я потом кончила гимназию; с 1916—1917 мы жили на Шпалерной улице, д. 44, кв. 22, отсюда мы совсем покинули Петербург (в то время именовался он Петроградом) и переехали в Троице-Сергиев посад, где уже началась совсем другая жизнь, и где окончились дни отца, но об этом расскажу дальше. Оба дома на Шпалерной улице сохранились.

У нас, как я говорила, в Петербурге было сначала 6 комнат, а затем 7. Домашней прислуги было трое: кухарка, няня и горничная; дрова носил на 5-й этаж дворник, белье большое стирать приходила прачка раз в месяц; маленькие стирки лежали на обязанности горничной. Она должна была по утрам чистить всем обувь и пальто, открывать парадную дверь на звонок, подавать к столу кушанья, мыть вместе с кухаркой посуду; по утрам мести, вытирать пол в комнатах; раз в месяц приходил полотер и натирал полы (папа этот день очень не любил и уходил из дома куда-нибудь); глаженье всего белья лежало на горничной. Когда мы подросли, няня Паша вышла замуж и ушла от нас; к нам приставили немок — бонн, но мы с ними не ладили, а потом когда мама заболела в 1910 году, взяли тихую женщину, которая нас обшивала, разливала чай в столовой, гуляла с детьми, делала покупки и была в доме

очень необходима. Ее звали Домна Васильевна, фамилию не помню. Она жила у нас почти вплоть до отъезда в Троице-Сергиев посад.

Мама была очень хорошей хозяйкой и за здоровьем детей очень наблюдала. День был строго распределен. Нас, детей, будили в восемь часов утра, мы умывались, одевались и, прочитав „Отче наш“ и „Богородицу“, шли здороваться с папой и мамой в спальню. Это время мы очень любили. Мы целовали у папы и мамы руку. Потом шли завтракать. В это время привозили 4 бутылки молока из Царского Села, считалось что там лучше молоко. Мы ели манную кашу, пили кофе с молоком и ели булку с маслом. Через полчаса вставали мама и папа со старшей сестрой Алей. Отец просматривал за кофеем газеты. Газеты выписывались: „Новое время“, „Русское слово“, „Колокол“. Когда мы стали взрослыми, отец все равно не разрешал нам читать газеты. Говорил, что нам они не нужны, а что он как писатель обязан читать их, но что и ему о н и надоели. Любил читать на последней странице газеты всякие страшные приключения, а полностью ни одной газеты никогда не прочитывал. Мама газет никогда не читала, кроме папиных статей, а сестра Аля любила читать журнал „Русское богатство“, а больше всего кадетский журнал „Русскую мысль“.

За столом мы должны были сидеть тихо, перед едой креститься, съедать все, что поставлено на стол. Если мы капризничали за обедом и не ели что-нибудь, папа рассказывал о своей бедности в детстве и вспоминал сколько есть на свете бедных детей, которые даже черного хлеба не едят до сыта. Нам становилось стыдно, и мы принимались за еду. После завтрака мы шли в детскую играть, мама лежала в спальне на кушетке, Аля тоже, у нее был порок сердца и она была очень больная; последние годы она у нас не жила, поселилась с подругой своей, Натальей Аркадьевной Вальман на отдельной квартире, на Песках.

Обыкновенно, в час дня подавался завтрак — котлеты, или что-нибудь легкое. После завтрака отец ложился в кабинете спать на кушетку, мама накрывала его меховой шубкой и в квартире водворялась полная тишина; нас, детей, спешно одевали и отправляли гулять во всякую погоду: будь то снег или дождь. Гуляли мы большей частью в Таврическом саду. Помню там хромую, некрасивую девочку Асю, старше меня, которая меня полюбила и все за мной ходила, а мне она не

нравилась и я обращалась с ней холодно и пренебрежительно, и даже до сих пор в этом я себя упрекаю. Очень хорошо все это помню.

Летом мы часто гуляли в летнем саду. Мама, не доверяя ни няне, ни бонне, часто приезжала на извозчике и украдкой смотрела, как мы играем. Это было чаще в Таврическом саду.

Я очень не любила эти прогулки, — особенно зимой; мерзли руки и ноги, особенно, когда заставляли кататься на коньках. Но в наше старое время ослушаться не приходило в голову.

В четыре часа папа просыпался, вставал, одевался и ехал в Эртелев переулок, в редакцию „Нового времени": потолковать о новостях, узнать, как идут его статьи в газете, поболтать с сотрудниками. Близких друзей у него в редакции не было. Главного сотрудника газеты — Меньшикова, он недолюбливал и посмеивался над ним — за зонтик и калоши в любое время года, а также за статьи его об аскетизме, считая их фальшивыми. У Меньшикова был свой кабинет, у отца никогда не было. В редакцию отец всегда ездил на извозчике, для вида всегда торговался, — 15 или 20 копеек дать? Поговорит, посмеется и всегда даст больше. Отец очень любил шутить, болтать всякие пустяки, особенно с домашней прислугой, с извозчиками. Всегда расспросит: женат ли, сколько детей, отчего умерли родители, выслушает с интересом, и прибавит от себя какое-нибудь утешительное наблюдение нравоучительного характера. Домашняя прислуга его очень любила и говорила: „Барин — добрый, а барыня — строгая".

Если папа не уезжал в редакцию, то в четыре часа пили чай, а если уезжал — то в шесть часов подавался обед, а чаю уже не пили. Отец не смел опоздать на обед. Мама очень сердилась, говорила, что труд прислуги надо беречь и приходить во время. Папе очень попадало за опоздание к обеду. Когда мы совсем были маленькие, обед был в два часа дня, а в шесть часов — ужин. Помню в зимние дни ждем мы папу из редакции. Звонок, горничная идет открывать парадную дверь, мы, дети, гурьбой бежим к отцу навстречу. Мы рады, что он пришел. Он пыхтит, шуба на нем тяжелая, на меху, барашковый воротник, руки у него покрасневшие от мороза, перчаток он не признает. „Это не дело, — говорит он, — ходить мужчине в перчатках". На ногах у него штиблеты и мелкие калоши. Лестница высокая — 5-й этаж, лифт когда работает, когда нет. Отец улыбается, целует нас детей, идет в столовую,

подают миску со щами или супом, валит пар, и счастливая семья, перекрестясь, дружно усаживается за стол. Как я любила эти моменты — так уютно, тепло было в столовой после мороза, папа за столом рассказывает всегда что-нибудь интересное. Обед состоял из трех блюд. Щи или суп с вареным, черкасским мясом (часть мяса 1-го сорта). Мясо из супа обыкновенно ел только отец, и обязательно с горчицей, и очень любил первое блюдо. На второе подавалось: или курица, или кусок жареной телятины, котлеты с гарниром, изредка гусь, утка или рябчик, судак с отварными яйцами; на третье — или компот, или безе, или шарлотка; редко — клюквенный кисель.

После обеда мы должны были играть в детской, а отец шел заниматься в кабинет, разбирать монеты или читать. Читал он в конце жизни мало, больше со средины книги, или с конца — уставал. Много прочитал серьезных книг смолоду. В кабинете у отца стояла большая вертящаяся полка с книгами по богословию, сектантству, а на высоком стеллаже стояли старинные фолианты книг на латинском и других языках, энциклопедисты XVIII века. Он хотел после своей смерти пожертвовать в Костромскую городскую библиотеку, откуда был родом, но разруха в революцию не дала осуществить эту мечту, да он с грустью говаривал: „Кто будет там читать, а я эти книги собирал, будучи бедным студентом, покупал на последние деньги у московских букинистов".

В трудное время сестра Надя продала их, не знаю кому, потом я очень об этом сокрушалась. Была еще полка с русскими, старинными книгами: Херасковым, Сумароковым, Ломоносовым и Карамзиным, все в старинных красивых переплетах. В кабинете у отца, на круглом столе красного дерева лежали хорошие книги по искусству. Были на полке у нас и чудный журнал „Старые годы", и журнал „Столица и усадьба", „Русские Пропилеи", много книг с автографами Гершензона, Мережковского и других писателей. Библиотека не сохранилась. В голодные годы отец их продал в Троице-Сергиевом посаде в книжный магазин Елова, и сестры во время голода потом тоже продавали книги. Последние хорошие книги я продала в Государственный литературный музей. Среди них были и книги Гершензона, и с интересным автографом „Оправдание добра" Вл. Соловьева. Был у нас и весь Леонтьев, стоял на полке с книгами русских писателей классиков: Достоевским, Толстым, Пушкиным, Лермонтовым,

Гончаровым. Тургенев весь стоял в шкафу у сестры Али. В молодости я им зачитывалась.

Как я уже сказала, отца мы видели, в основном, только за столом. Он любил рассказывать всякие случаи из жизни, о бедствиях своего детства, страшной нищете и болезни бедной своей матери. Любил рассказывать страшные рассказы, читать Гоголя: „Страшную месть“, „Вий“, „Тараса Бульбу“; читал Пушкина стихи и Лермонтова „Анчар“, „Три пальмы“, „Выхожу один я на дорогу“, а особенно „Ангела“ Лермонтова. Мама его часто останавливала, говорила, что дети и без того очень нервные, — плохо спят.

В беседах со взрослыми отец часто критиковал школьное образование, а также либеральные статьи в газетах; приводил рассказы о простых, добрых людях, живущих просто и нравственно. Я очень любила эти папины беседы за столом, они были фундаментом, заложившим нравственную основу во мне на всю жизнь.

На Шпалерной улице, вечерами, мы сидели на подоконниках в столовой и смотрели в окна на Петропавловскую крепость, на Неву, на пароходики с зелеными и красными огоньками. Мы загадывали, какой из-за угла дома покажется пароходик — с зеленым или красным огоньком? И это нас очень увлекало. Об этом пишет в своих воспоминаниях сестра Надя.

Днем к нам редко приходили гости. Делалось исключение для Нестерова, Мережковских. Помню Зинаиду Николаевну Гиппиус, жену Мережковского, всегда и зимой в белом платье и с рыжими распущенными волосами. Мама ее терпеть не могла, а мы, дети, посмеивались и считали ее сумасшедшей.

В то время, когда у нас бывали Мережковские и отец увлекался юдаизмом (1903 г.), однажды произошел следующий случай. Звонок. Входит молодой, красивый офицер и обращается с просьбой к отцу, не может ли Варвара Дмитриевна (моя мать) быть крестной его невесты. Она была еврейка из богатой семьи, и этот русский офицер не мог на ней жениться и по церковным, и по гражданским законам. Моя мама очень неохотно согласилась, дала ей Евангелие и научила ее главным молитвам. Они обвенчались. Через год у них родился ребенок — мальчик, но тут произошло несчастье — жена заболела и умерла от тифа. Было очень горько моим родителям, так как все полагали, что эта смерть была вызвана

проклятием родителей, истых иудеев, не простивших дочери отступления от религии отцов.

Наша вся семья его очень жалела. Его положение было просто ужасное, — молодой офицер с маленьким ребенком на руках. Он продолжал у нас бывать, часто брал меня на руки (мне было лет семь), и помню, как он мне рисовал все одни и те же маленькие деревянные домики, неказистый забор, за забором — яблоня, а из трубы идет дым.

Затем он уехал на Кавказ, на свою родину, с ребенком. Помню, как мы на нескольких извозчиках всей семьей его провожали. Помню, как я потихонечку там горько плакала, жалея, что он уезжает. Через некоторое время он прислал нам свою фотографию, где он был снят уже в генеральском мундире с прелестным курчавым ребенком. На обороте фотографии была длинная надпись, но содержания ее не помню. Эта фотография до последнего времени хранилась у меня, но потом я испугалась, что он снят с генеральскими эполетами старой царской армии и я уничтожила ее, о чем теперь очень жалею.

Раза два бывала у нас вдова Достоевского, Анна Григорьевна, в черном шелковом платье, с наколкой на голове и лиловым цветком. Представительная, красивая; она просила отца написать рецензию на роман дочери: „Больные девушки“. Но папа нашел роман бледным сколком с Достоевского и бездарным, и не написал рецензию. Анна Григорьевна жаловалась на дочь, что она ее замучила, и она хочет уйти в богадельню. Я тогда удивлялась этому.

Вспоминаю нашу знакомую, Фрибис. У нее были две дочери — Вера и Надя. Фрибис была крестной матерью моих сестер — Веры, Вари и Нади. Дочь ее, Надя, бывала у нас чаще, одна, — и брала меня с собой гулять по прилегающим к нашему дому улицам. Она мне очень нравилась, она была хорошенькая блондинка, очень изящная. С ней мы останавливались у красивых витрин, особенно я любила останавливаться около табачных лавчонок, где были в окнах выставлены нелепые, блестящие открытки, а также маленькие бутафорские колечки с красненькими стеклянными камешками. Мне очень они нравились, и я просила Надю, чтобы она купила мне такое колечко. И она мне купила. Через некоторое время я узнала, что она покончила с собой. Никто так и не узнал причины ее смерти. Об этой истории, как я понимаю, написал мой отец статью „О самоубийствах“, которую я про-

чла только в этом году, в сборнике „Самоубийство“, М., кн-во „Заря“, 1911 г.

Другой печальный случай вспоминается мне: молодой человек, Зак, музыкант, приходил к нам играть на рояли, так как у него своего инструмента не было. Он готовился к поступлению в консерваторию. Однажды он к нам не пришел в назначенный час. Через несколько дней мы узнали, что он покончил с собой, выбросившись из окна. Причина была та, что по ограниченной процентной норме для евреев, он не попал в консерваторию. Это был довольно красивый, скромный и тихий молодой человек. Мы его очень, очень жалели и часто потом вспоминали.

Бывала у нас и семья Саранчиных. Это была богатая дама, вдова, с сыном Мишей и дочерью Марией. Они изредка у нас бывали. Вскоре мы услышали горестную весть, что эта молодая, красивая девушка, с огненно-рыжими волосами, внезапно заболела аппендицитом и после тяжелой операции умерла.

Почему я описываю этот случай? Потому что я в первый раз видела смерть, гроб, стоявший в церкви, и слушала заупокойную обедню. Картина эта запечатлелась на всю жизнь в моей памяти и я впервые задумалась над тайной смерти.

* * *

Днем приходил Евгений Павлович Иванов, изредка бывала моя крестная мать — Ольга Ивановна Романова со своей дочерью Софьей, — папиной крестницей. По зимам, с мамой и со старшими детьми, отец изредка ездил к ним в гости на Васильевский остров. Зимой, на санках, проезжали через Неву, красиво горели фонари на оснеженной, замерзшей Неве. Мы любили эти поездки. Старик Иван Федорович Романов, довольный, выходил к отцу навстречу, и лилась у них мирная и интересная беседа, а мы — женщины, говорили про свое житейское, обыденное.

Обыкновенно дети ложились спать в 9 часов вечера. Папа всегда приходил их крестить на ночь. Мама со старшей сестрой ложилась часто часов в 12, я же потихоньку зачитывалась до поздна.

Ночью папа обыкновенно или писал, или определял свои древние монеты, или же ходил по кабинету по диагонали о чем-то размышляя. Писем он писал мало и по крайней надобности. Много курил. Папиросы он набивал сам табаком и клал в хорошенькую бордовую коробочку с монограммой: „В. Р.“,

подаренной моему отцу его падчерицей — Александрой. Коробочка эта сохранилась и передана мною в Государственный литературный музей в Москве. Если в воскресенье, когда табачные магазины закрыты, у отца не было папирос, то он был совершенно растерян и не мог работать...

В 1904 году началась японская война. Помню, у нас, детей, было два альбома и мы наклеивали туда вырезки из газет с изображением боев, Цусимской битвы, крепостей, генералов. Эти альбомы мы бережно сохраняли в нашей семье долгое время.

Я просила мать отдать меня на воспитание крестной матери — Романовой, но та отказалась, и меня в 1904 году отдали в пансион. Этот пансион был только что открыт в Царском Селе по образцу английских школ и принадлежал некоей даме, по фамилии — Левицкой. Отдали меня в этот пансион, чтобы укрепить мое слабое здоровье и закалить меня, так как я росла любимицей в своей семье и сама боялась, что выйду в жизнь слишком избалованной и слабым созданием.

В этом пансионе девочки учились вместе с мальчиками. Прекрасный воздух, парки, строгий режим — все это должно было укрепить мое здоровье. Программа была мужской гимназии с латинским языком. Меня туда привезли и оставили. Я долго горько плакала и всех боялась, особенно мальчиков. Мальчики меня звали „мокрой курицей“ и я этим очень огорчалась. Через две недели меня стали пускать домой на воскресенье, а если в чем-нибудь провинилась, то оставляли на воскресенье в школе. Но я обыкновенно ездила домой.

Папа и мама мои очень не любили лгать, особенно мама, поэтому она была очень привязана ко мне, потому что я тоже не могла сказать неправду. Сестры же были большие фантазерки и никогда нельзя было узнать, правду они говорят или придумывают. Мама с папой очень верили мне и очень держались меня. Папа говорил: „Таня нас не бросит в старости“, и случилось так, что оба они умерли при мне; с папой еще очень, очень помогала Надюша, а мама умерла при мне, и до последней минуты я была с ней с больнице.

Вспоминаю свои приезды домой в зимние дни — с субботы на воскресенье. Как я любила субботы! Бывало, мама лежит на кушетке, а я сзади нее, за ее спиной, и слушаю ее неторопливые рассказы об Ельце, о бабушке, о первом мамином

муже. Милая мама, — больше всех в жизни я ее любила, и она тем же отвечала мне.

К моему приезду всегда в вазочке стояли розы. Было в комнате моей тщательно все прибрано и я весело проводила эти дни, а вечером, в воскресенье, возвращалась в школу Левицкой. Комнату мою мама запирала на ключ, чтобы сестры там не напроказили и я была бы спокойна. В детстве, лет до десяти, я была очень резва, смела, ничего не боялась, но с десяти лет характер у меня изменился — я стала очень серьезной, боязливой, о чем папа и пишет в письме. Я была ригористична, прямолинейна, требовательна к себе, но еще более требовательна к другим. Я осуждала многих, особенно сестер за их легкомыслие, и эта черта моя делала, в сущности, меня несчастной. Родители мои любили и жалели меня, а сестры меня недолюбливали и боялись. Я была очень старательной в учебе и во всех делах, мне никогда не надо было много раз напоминать, я сама знала и чувствовала, что я должна делать и как поступать, чтобы не огорчать родителей. Но в одном я родителей не слушалась: я по ночам запоем читала, и чуть ли не восемнадцати лет прочла всего Достоевского. Это увеличило мою нервозность и сильно испортило мое здоровье. Так как я была очень слабым ребенком, то меня поздно начали учить по настоянию врача, что было очень тяжело для моего самолюбия. Я росла замкнутым, нервным и не по летам серьезным ребенком.

В марте месяце 1905 года вдруг перестали к нам в школу Левицкой доходить письма от родителей, они тоже не приезжали ко мне и нас не пускали домой. Поезда из Царского Села одно время в Петербург не ходили. Шопотом говорили, что революция в России...

В один из приездов, весной, я видела, как полиция с нагайками разгоняла толпу народа около Зимнего Дворца, и мы с няней убежали; затем волнения улеглись, но долго у нас дома были разговоры. Я напрягала свой детский ум, чтобы понять, что же произошло?

В 1905 году, летом, мы поехали за границу по окружному билету: Берлин, Дрезден, Мюнхен, затем Швейцария и обратно через Вену. Но отцу очень хотелось посмотреть Нюренберг, и мы сделали отклонение от маршрута и поехали в Нюренберг. Он красочен и интересен. Ходили в костел, слушали орган. За границу ездили: отец, мать, сестры Аля, Вера, Варя и я. Васю и Надю оставили у знакомых Гофштетеров.

Берлин мне очень не понравился, — прямые, скучные улицы, масса жандармов, очень везде строго и как-то скучно. Но когда мы приехали в Дрезден и Мюнхен — там меня все очаровало. Красивые парки, сады, яркое солнце, замечательные музеи. Помню Дрезденскую Сикстинскую Мадонну. Мы не выходили из музея допоздна, с утра до вечера посещая галереи; картины меня очень интересовали и я со вниманием их рассматривала и многие из них до сих пор помню, хотя мне тогда было только десять лет.

Из Германии мы поехали в Швейцарию, сначала жили в Женеве, в гостинице, напротив был разбит сквер. Помню один случай, — и серьезный и комичный: сестры Вера и Варя устали от путешествий, им все надоело. Они решили сами прогуляться и убежали из гостиницы. Мы очень испугались, что они потеряются, не зная языка, такие маленькие дети. Отец их догнал в саду и крайне рассерженный, запер их в платяной шкаф. Слышу, Вера, встревоженная, плачет и шепчет, задыхаясь, „вот скоро умру", а Варя ее утешает: „не бойся, папа пожалеет и выпустит нас, он не даст нам задохнуться". Вспоминается и второй случай, когда я в сумерках, в горах, убежала от родителей. Я обиделась на сестру Алю, что она не обращает на меня внимания и разговаривает с нашим знакомым Швидченко, который в Швейцарии сопровождал нас, любезно показывая разные достопримечательности.

Один раз в жизни испытала я жгучую ревность к сестре и убежала в горы, не помня себя. Были сумерки, родители сильно напугались, — я бы легко могла сорваться в пропасть. Это произвело столь сильное впечатление на Швидченко, что он много лет посылал мне открытки, уговаривая, чтобы я не была столь отчаянно-сумасбродной.

В Женеве мама сильно заболела и мы перебрались в местечко „Бе" в горах. Там мы прожили в пансионе три недели, ходили в горы, а мама лежала в гостинице. Из местечка „Бе" мы через Вену вернулись в Россию. Видели собор св. Стефана, были в костеле, слушали поразительный орган, но сама Вена нам не понравилась, очень шумная, беспокойная и дорогая. Васе и Наде привезли много подарков, все были очень довольны, мама очень беспокоилась за младших детей, первый раз оставленных на чужие руки.

Поездку за границу я запомнила, привезла оттуда много открыток с видами Швейцарии, очень их берегла, но в 1943 году, при несчастном случае, их у меня выкрали.

. . . .

Пришвин появился у нас у Петербурге на квартире с рюкзаком за плечами и женатым. Он принес свою первую книгу „В краю непуганных птиц" и просил отца написать об этой книге рецензию. Это я очень хорошо помню. Отец засмеялся и сказал: „Вот, Таня, как хорошо, что я его выгнал, по крайней мере узнал жизнь, путешествовал, и написал хорошую книгу, а то был бы каким-нибудь мелким чиновником в провинции". Отец сдержал слово, поместил похвальную рецензию в „Новом Времени". После него дал о книгс отзыв еще и Горький. С этого времени Пришвин пошел в гору. Позднее он написал роман „Кащеева цепь", где высмеял Василия Васильевича, не упоминая его фамилии. Когда в 1928 году я стала бывать в его семье в Троице-Сергиевом посаде, то он хотел прочитать мне это место из своей книги, но я отказалась слушать. Он был, видимо, очень смущен этим и через несколько времени принес мне на квартиру в подарок портрет моего отца, а также фотографический снимок с пелены преп. Сергия, которая находится в Государственном Троице-Сергиевом музее в Загорске. Фото эти до сих пор висят у меня на стене.

. . . .

В 1906 году мы ездили летом в Гатчину. Смутно запомнились дворец и зелень садов. В 1907 году летом мы ездили всей семьей в Кисловодск — мама болела и врачи посоветовали лечение нарзаном. Помню, как я смотрела из окна вагона на цепь невысоких гор.

Отец нашел, по совету художника Нестерова, дачу, расположенную близ дачи художника Ярошенко.

Из Кисловодска мы ездили в Пятигорск: отец, сестра Аля, Вера и я. Ходили смотреть на место дуэли Лермонтова. Рассказ старожила Пятигорска о смерти Лермонтова казался сомнительным, о чем сказала Аля. Если бы дуэль была на том месте, где указывали, то Лермонтов должен был бы упасть в пропасть и разбиться насмерть, так как площадь была небольшая, а он жил (по свидетельству биографов) еще некоторое время, хотя был без сознания.

Памятник же Лермонтова находился совсем в другом месте и был очень неудачный — в виде ограды из алебастра или мрамора с его бюстом. Потом мы пошли осмотреть домик Лермонтова, в котором поэт провел последние дни своей жизни. Одноэтажный домик стоял в саду, густо заросшем, тенистом. В самый домик нас не пустили, как я хорошо помню, а какой-то старичок повел нас в сад — уютный, где было много яблонь.

Я была очень печальна, мне было до слез жаль Лермонтова. Я сорвала несколько листков с яблони на память о нем, засушила их и они долго хранились у меня.

Старичок этот что-то умиленно и долго рассказывал о Лермонтове моему отцу... Оттуда мы вышли очень грустными, с мыслями о том, что память о Лермонтове плохо сохраняется в Пятигорске, что рассказ о последних его днях неясен. Отец выразил желание написать о домике Лермонтова и просить сохранить его для потомства, что он и сделал, написав статью в „Новом времени" в 1908 году об этом. На статью обратила внимание Академия наук, а затем и общественность, и спустя некоторое время домик был передан в ведение города.

Я очень любила Лермонтова. Первый классический стих, который я услышала от отца, был — „Ангел" Лермонтова: „По небу полуночи Ангел летел и тихую песню он пел". Часто впоследствии отец читал мне наизусть стихи Лермонтова.

Помню, как отец подарил мне собрание сочинений Лермонтова в одном томе, в красном переплете. Первый рассказ попался мне „Тамань". Я прочла его, не отрывая глаз от страниц. С рассказа этого началось мое запойное чтение книг, особенно Лермонтова, а затем, в юности, Достоевского.

Отец ставил Лермонтова выше Пушкина, учитывая, что Лермонтов ушел из жизни совсем молодым.

Из кавказских впечатлений помню нашу поездку к подошве горы Эльбрус. В жизни впервые я увидела восход солнца, видела, как брызнули кровавые лучи солнца на белые снега Эльбруса. Зрелище это было незабываемое по своей красоте и значительности... Вот все, что я помню о Кавказе... да еще вспоминается один эпизод: как-то, мои младшие сестры и братишка собрали исписанные открытки и решили их продать, а на вырученные деньги убежать из дому в горы. Отец поймал их и пребольно высек, пощадив лишь младшую сестренку Надю.

* * *

В школе Левицкой, где я училась, было очень холодно, здание школы было деревянное и плохое, во все щели дул ветер, временами зимой в дортуарах и классах было 5—7 градусов тепла. Мы мерзли, несмотря на теплую шерстяную одежду.

Учиться мне было трудно, так как я плохо усваивала задачи по арифметике с бассейнами и встречными поездами, а также трудно давался устный счет. Мучило меня и французское произношение, и учитель дико на меня кричал.

Распорядок дня в школе Левицкой был следующий: будили нас в 7.30 утра, обливали в ванной комнате холодной водой, а меня, как нервную, обтирали губкой (врач запретил обливать меня холодной водой). Затем нас гнали гулять бегом, зимой и летом по улицам Царского Села полчаса, затем мы в столовой слушали общую молитву и садились завтракать. На завтрак подавали молоко и какую-нибудь кашу: пшенную, гречневую размазню, манную. Все каши были холодные, на верху, в ямочке, стояло застывшее противное топленое масло. В понедельник подавалась геркулесовая каша, особенно противная, вызывавшая во мне непроизвольную тошноту, отчего я мучительно страдала. Но есть надо было, иначе не пустят домой в воскресенье.

Как сейчас помню: бегу к слуге Андрею; он разносил завтраки, — умоляю его взять незаметно от меня тарелку с кашей. Он меня очень любил, жалел и потихоньку брал тарелку. Он делал большое для меня дело, рискую за это быть уволенным с работы. Никогда не забуду этого милого, доброго Андрея, так сердечно жалевшего меня в детстве.

После завтрака мы должны были идти в классы. Было пять уроков, затем был обед: невкусный, противный суп, котлеты, или опять каша, кисель, или компот. Затем следовал получасовой перерыв и опять прогулка по улицам и паркам Царского Села. Ходили мы парами и очень благопристойно. Только иногда я убегала потихоньку, посмотреть в парке на плачущий фонтан (нимфа с кувшином, из которого постоянно текла вода), потом вскарабкивалась на камни грота, оттуда легко могла упасть. Это были смелые шалости в моем детстве.

После прогулки и ужина учили уроки до девяти часов, потом слушали общую молитву и ложились спать.

В раннем детстве, когда я поступили в школу Левицкой, я сдружилась с хорошенькой белокурой девочкой из своего класса. Звали ее, помню, Марусей Нагорновой. Она была малоразвитая девочка, но тихая и хорошо училась. По вечерам она часто учила со мною уроки. Потом я познакомилась с ее родителями. Они жили в Царском Селе. Маруся очень походила на своего отца — красивого, статного инженера, а мать была неприятная, — какая-то всегда недовольная. Была она купеческого звания, стыдилась этого и мечтала в будущем выдать свою дочь обязательно за князя или графа. Бедная Маруся в четвертом классе заболела гнойным аппендицитом, чуть не умерла, и ее увезли заграницу лечить, а затем, мать все же добилась своего и выдала дочь за князя Добижа, который когда-то учился у нас в школе. Это был совсем не интересный юноша, глуповатый, из разорившейся семьи, но носил титул князя, и это прельстило глупую мать. Я потом виделась с Марусей, ездила с ней на концерты в Павловск. Там я слышала оперу „Снегурочка“ в исполнении Липковской. Маруся была очень грустна, бледна и, по-видимому, совсем больная. С отъездом из Петербурга я ее потеряла из виду, и что сталось с ней потом, не знаю.

В четвертом классе я заболела корью. Меня поместили в лазарете при городской больнице. Я очень испугалась, много плакала и, помнится, читала сказки Горького, которые мне очень понравились.

Из-за того, что я проболела два месяца, меня оставили на второй год в четвертом классе. Это еще больше вывело меня из равновесия. Руки у меня сильно пухли от холода и мне позволили при лазарете жить отдельно, а затем по настоянию врача, совсем взяли из пансиона.

Из расписания жизни в школе Левицкой видно, что для чтения не было времени. Я читала украдкой полчаса днем и в воскресенье, когда не ездила домой. Так помню я запоем прочитала двухтомник Шекспира и „Анну Каренину“ уже в пятом классе, сидя на деревянной лесенке, ведущей в кухню, чтобы мне никто не мешал. Такая скучная, холодная, безрадостная жизнь подавила меня. Я все больше и больше чувствовала себя совсем больной и несчастной. Сестра же Варя, которая к этому времени поступила в школу, была довольна. Она не любила читать, а любила гимнастику, с мальчиками ладила и все ей нравилось, а занятия ее мало тревожили. Через некоторое время, уже после меня, ее взяли

тоже из школы Левицкой, так как она не учила уроков, а плата в школе была высокая; ее поместили в гимназию Оболенской, где была облегченная программа, чтобы она как-нибудь окончила гимназию.

В 1908 году мы жили в Финляндии, в местечке Лепенено, а в 1909 году в Луге. Помню суровую природу Финляндии.

Уезжали мы всегда сразу после экзаменов с мамой, сестрой Алей и бонной Домной Васильевной. Летом у меня всегда были переэкзаменовки по арифметике и это меня угнетало, но все же опять запоем читала, гуляла мало. Отец жил на нашей квартире в Петербурге, в Казачьем переулке, так как ему нужно было бывать в редакции и он приезжал к нам в конце недели на воскресенье, всегда с какими-нибудь подарками. Мы очень радовались его приезду. В воскресенье, ближе к осени, всегда ходили за грибами в лес. Ранней весной, иногда, на дачу уезжала Домна Васильевна с Васей и Надей — младшими детьми, у которых еще не было экзаменов.

Папа и я очень любили эти прогулки в лесу и собирание грибов и кричали: „Вот белый гриб, вот белый гриб“, а брат Вася всегда набирал червивых грибов, над ним посмеивались сестры и безжалостно выбрасывали их из корзинки, чем он очень огорчался.

Дома тщательно разбирали, сортировали и жарили или мариновали грибы. В конца лета обыкновенно набиралось больших стеклянных банок — 12, их заливали воском и убирали на зиму.

* * *

Вспоминаю свою жизнь с родителями в Петербурге. Помню свою комнату, — у меня была всегда отдельная комната, даже когда я училась в школе Левицкой, как я уже об этом говорила. В комнате стояла детская кровать, которая и до сих пор у меня — старинная, с завитками на спинке кровати,, каких теперь и не делают, диван, шифоньерка с любимыми книгами и бельем, письменный дамский столик, зеркальный платяной шкаф, на стенах картины Беклина.

Сестра Вера имела тоже свою комнату, а Вася, Варя и Надя жили в детской с бонной.

Семья делилась на две половины. Я была ближе с отцом и матерью, а с сестрами и братом — далека, любила только младшую сестренку Надю, но она меня не любила. Так было в

течение первого периода нашей жизни, а затем, перед смертью отца года за три, отец очень сдружился с Надей, которая увлекалась античными мифами, даже экзаменовала его; а ко мне становился все дальше и дальше, потому что я интересовалась православием и аскезой. Как жалею теперь я об этом. В старости захватил меня древний мир, особенно Ассирия и Египет, о многом я сейчас бы расспросила отца, ближе и дороже становится он мне.

Теперь вернусь к рассказу о семье. Старшая сводная наша сестра Аля — Александра Михайловна Бутягина — нас всех объединяла своей любовью, заменяя нам больную мать. По вечерам мы приходили к ней и она рассказывала нам чудесные сказки Андерсена, особенно мы любили „Дюймовочку“ и сказку про „Снежную королеву“, а также сказку народную про Иванушку-дурачка. Мы заслушивались и сказкой о Золушке. С нами Аля иногда ходила гулять, много нам интересного рассказывала и была нам родной и близкой. Помню, как однажды пошли мы с ней на Марсово поле смотреть военный парад, было очень интересно и красиво. Но вдруг, в конце парада, один всадник упал с лошади и мы видели, как вся остальная конница проехала по нему. Это было ужасно! Мы вне себя пришли домой и больше на парад никогда не ходили.

Вспоминаю своих родителей, вижу насколько они были разные люди, несмотря на то, что они очень любили друг друга.

Мама была очень молчаливая, сдержанная и с оттенком суровости. Свои чувства она не любила выражать внешне, но любила отца самоотверженно, горячо, до самозабвения. Из детей она страстно любила меня, прямо боготворила и баловала очень сильно, а младшую мою сестру Надю полюбила тогда, когда последняя вышла замуж и уехала в Ленинград с мужем. Тут Надя была ей очень близка. Мама писала ей трогательные письма. Вспоминала с ней свою молодость и трудную необеспеченную жизнь с отцом в первые годы замужества, писала, что все образуется. Надя вышла замуж за студента. С ними в Ленинграде жил свекр и младшая сестренка мужа. Было материально очень трудно, квартира была большая, дров не было. Но сестра все скрывала, чтобы не расстраивать меня. В то время я лежала в больнице в Ховрино с осложнившимся ревматизмом.

Когда сестра Надя умерла в 1956 году, я из писем к ней матери только и узнала о настоящем положении дела в то далекое время.

* * *

В молодости сестры Вера и Варя своей анархичностью причиняли маме большие заботы и огорчения, она их совсем не понимала и была далека от них.

Но у Вари все же сохранилось очень хорошее стихотворение к матери.

Моей матери

Завтра утро.
Встанешь рано, —
До зари.
Я приду плести прямые
Волосы твои.
Знаю, скажешь:
„Опоздала“,
С грустью отойдешь
И бродить тоскливо станешь
Все кого-то ждешь.

Платье черное закрыто
И тревожно спит,
Все неясное сокрыто
И молчит, молчит.
Завтра утро...
Час тревожный,
Отдохни,
Снова встретится
Возможный
Белый лик тоски.

Сергиев. 25 декабря 1917 г.
Стихи Варвары Васильевны
Гординой-Розановой.

Сестра Вера обожала отца, день и ночь думала о его сочинениях, ночью писала ему любящие письма и оставляла у него на столе. К матери же она была очень холодна.

Брат Вася помогал маме, бегал постоянно в аптеку за лекарствами — у нее часто бывали тяжелые сердечные приступы, — и причинял мало забот, кроме того, что плохо учился, — писал с ошибками; был очень мягкий, добрый и тихий, а ученье ему не давалось. Поэтому его отдали в Тенешевское училище — реальное, чтобы только ему не изучать в гимназии древних языков. Вася и Варя плохо учились, Вера сносно, хотя уроков мало учила и читала запоем как и я. Я же была очень старательная, но математика мне тоже давалась трудно, как и Наде, и я плакала над уроками. Отец, бывало, часто помогал мне в решении задач на краны и поезда; этих задач я никак понять не могла. В старших классах, когда

пошла логика, психология, история искусств и отпала математика, так как я была на гуманитарном отделении, то я училась на одни пятерки. Как я уже сказала, Вера и я читали запоем. Вася и Варя совсем не признавали книг. Варя мечтала о танцах и всяком веселии, Вася любил летом удить рыбу; есть очень интересные Васины письма о рыбной ловле. Мама всегда говорила: „Трудные мои дети. Маленькие дети — маленькие заботы, большие дети — большие заботы", и тяжело вздыхала.

Папа как-то не очень вникал в наши занятия, он только очень огорчался, когда я горько переживала свои неудачи. Отец полагал, что учат нас многим глупостям, и видя, что мы к науке неспособны, махал только рукой; огорчался только из-за Вари, которая приносила домой из школы одни только двойки, и очень шалила за уроками, но сама Варя нисколько не унывала; она была в жизни удивительная оптимистка, ее интересовало только одно, — как сидит на ней юбка и как завязан бант и вертелась дома весь день перед зеркалом.

ГЛАВА III

МОЯ РАННЯЯ ЮНОСТЬ

Живя в школе Левицкой и после в первые годы в гимназии Стоюниной, я любила зимой и весной с отцом и сестрой Алей посещать выставки. Все весенние, осенние выставки художников-передвижников, а также выставки художников „Мира искусств“ усердно нами посещались. Восторгали меня картины Левитана, Врубеля, Петрова-Водкина, Сарояна, Рериха, художницы Гончаровой. Я подолгу ходила по залам, стараясь понять и запомнить картины.

Бывали мы с отцом и в Эрмитаже.

Была, помню, на концерте в Консерватории, который давал замечательный пианист Гофман, прекрасное исполнение им „Рапсодии“ Листа и „Франчески да Римини“ Чайковского. Бывала и в операх, в Малом театре Суворина, там шли классические оперы, но в плохом исполнении. Впервые в оперу вводилась игра артистов, но голоса были неважные и все было довольно безвкусно. Мы ходили в ложу Суворина, так как она обыкновенно пустовала. Один раз, помню, детьми нас повели в Мариинский театр смотреть балерину Павлову в балете, — „Спящая красавица“. А также помню, как была в Мариинском театре на опере „Евгений Онегин“ с певицей Кузе. Она была уже немолода, но все же насколько старые постановки „Евгения Онегина“ лучше современных — другой дух, ближе к той эпохе. Была и на „Тартюфе“ в Михайловском театре. До 1910 года у нас каждое воскресение бывало много гостей, человек до тридцати, а особенно много было в мамины именины, в Новый год и в папины именины. Их справляли торжественно, с портвейном, вкусными закусками, дорогими шоколадными конфетами и тортами. Шампанское в нашей семье пили только в 12 часов под Новый год в своей семье.

Помню на этих вечерах бывал Валентин Александрович Тернавцев *, Иван Павлович Щербов ** со своей красавицей женой, священник Акимов, философ Столпнер, для которого специально ставился графин водки.

В эти годы бывал у нас и сын художника Н. Н. Ге. Помню, приходил всегда часа в четыре дня, очень молчаливый, небольшого роста, сидел за чайным столом, посидит и уйдет. Почему он к нам приходил, — не знаю, что его связывало с отцом, так как папа никогда не любил художника Ге.

Из Москвы изредка наезжал Михаил Васильевич Нестеров. Наша семья не только уважала, ценила высокое искусство Михаила Васильевича, но как-то по-особенному любила его.

Бывало, в свои приезды в Петербург, не очень частые, он нет-нет да и заглянет к нам. Иногда это бывало по воскресеньям вечером, когда у нас, по обыкновению, собиралось большое общество: писатели, поэты, художники, студенты. Бывали люди и совсем незнакомые. Приходил Нестеров и в другие дни. Он был всегда подтянуто одет, в длинном черном сюртуке, очень серьезен, молчаливый и спокойный...

Мы, дети, выбегали в переднюю, весело кричали: „Нестеров пришел, Нестеров пришел!“...

Его радовала наша детская непосредственность, веселость и теплота. Он был всегда желанным и родным человеком в нашей семье, чувствовал это и был тоже привязан к нам.

Среди гостей он держался молчаливо и редко вступал в беседу, но когда он говорил, все внимательно слушали его. Содержание беседы, к сожалению не помню.

Все мы, дети, увлекались картинами. Я с малых лет ходила по выставкам, сначала „Передвижников“, а затем „Мира искусств“. На каких выставках — я не помню — но видела и картины Нестерова. В 1916 году, приезжая в Москву, видела и его картины в Третьяковской галерее.

---

* Тернавцев — чиновник Синода и член Религиозно-философского общества, очень умный человек, крестный моей младшей сестры Нади. После революции был выслан из Петрограда, жил в одном из провинциальных городов России, преподавал математику в школе. Умер в 1940 г. Написал толкование на Апокалипсис, подлинник которого не сохранился, а копия была сдана дочерью его в публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина.

** Щербов — преподаватель Духовной академии Александро-Невской Лавры. О нем папа в книге своей писал: „Иван Павлович Щербов — всегда сонный, вялый, а жена у него красавица“ (приблизительно тот смысл). Кажется, об этом есть в „Опавших листьях“.

Помню, как однажды Михаил Васильевич Нестеров принес в белых красивых рамах три своих эскиза: „Ладу“, „Монах в лодке“ и „Волгу“ и подарил их моему отцу. Тогда же картины эти были повешены в кабинете и потом всегда помню их на стене в комнате отца; это были реликвии нашего дома. В 1957 году эскизы „Лада“ и „Волга“ подарены мною близкому моему другу — Воскресенской Нике Александровне. Эскиз же „Монах в лодке“ после смерти сестры Нади перешел в собственность Е. Д. Танненберг — художницы и друга сестры.

Чудесные рамы, к сожалению, не сохранились, — они погибли в блокаду Лениграда.

Помню и старшую дочь Михаила Васильевича Нестерова — Ольгу Михайловну, такую красивую, обаятельную. Мы жили с ней рядом на даче в Кисловодске. Мне доставляло неизъяснимое наслаждение ходить с ней по горам и любоваться ее стройным силуэтом на фоне этого пейзажа. Нестеров передал ее незабываемый облик на портрете, изобразив ее в красном берете, в костюме амазонки с хлыстом в руках. Она, такая красивая, такая обаятельная, была почти глуха — последствие скарлатины, перенесенной ею в детстве. Нестеров очень баловал ее и жалел — это была вечная рана в его сердце. Он старался удачно выдать ее замуж, но и в браке, по непредвиденным обстоятельствам, она была несчастна, и жизнь ее сложилась очень безрадостно и тяжело. Но я отклоняюсь в сторону.

Из посещений Михаила Васильевича нашей семьи в Петербурге запомнились мне два случая: один был — печальный, другой — курьезный. Как-то днем пришел Михаил Васильевич к нам в гости. Все сидели за столом; затеялся какой-то остро-принципиальный спор. Мы, дети, не соглашались с отцом и резко ему возражали. Михаил Васильевич был возмущен нашим поведением, и всегда, при случае, с горечью о нем вспоминал... Другой случай был раньше по времени, в каком году, — не помню. В гимназии Стоюниной нам задали сочинение на вольную тему. Я выбрала очень странную тему: „Нестеров и Боттичелли“. Что мне тогда вздумалось сравнивать их, — не знаю! Я была очень увлечена своей темой, написала на пяти больших страницах; прочитала в Гимназии. Мой учитель — Владимир Васильевич Гиппиус, ничего не сказал. Я не унялась и показала это сочинение Михаилу Васильевичу Нестерову. Он выслушал меня внимательно и сказал, что напишет мне письмо и сдержал слово: написал мне

пресерьезное письмо с возражением на мои утверждения. Мне потом было стыдно, я разорвала его письмо, а сочинение все же долго хранилось в моем письменном столе. В старости оно попалось мне на глаза и я, наконец, уничтожила свое незадачливое сочинение.

Как-то отец мой написал статью о Нестерове в восторженно-патриотическом духе. Но Нестеров был ею недоволен. Он сказал, что в этой статье много политики и мало разбора по существу его живописи, и просил отца написать другую статью. Так она и не попала в печать, а отцом была написана вновь другая статья *.

В этот же период времени к нам приезжал из Царского Села писатель Георгий Иванович Чулков с женой. Они бывали у нас редко, так как отец не был близок с Георгием Ивановичем по своим убеждениям.

На наших воскресных вечерах вспоминается незабвенный Евгений Павлович Иванов, друг Блока, и много еще случайного народа всех толков и мастей: от монархистов до анархистов и богоискателей включительно. Говорили о литературе, живописи, текущих событиях, поднимались горячие споры. Мне было интересно. Младших сестер и брата укладывали спать; иной раз до прихода гостей, они выбегали в рубашонках в столовую, чтобы украдкой полакомиться вкусными вещами, за что им попадало.

Помню на этих вечерах Бердяева, а также архитектора, старичка Суслова. Он подарил папе интересную книгу по древнему зодчеству Севера. По рассказам папы, у него была молодая жена и много детей. Бывал он потом и со своей молодой хорошенькой женой.

На этих вечерах у нас помню критика Петра Петровича Перцова — глуховатого, верного друга отца, образованнейшего человека своей эпохи, переведшего Тэна на русский язык и написавшего много хороших критических статей о русской литературе. Бывал и Ф. Сологуб со своей женой, Чеботаревской, в черном кружевном платье. Я ее помню. Она,

* Даю перечень статьей В. В. Розанова о М. В. Нестерове:
1) В. Варварин (псевдоним В. Розанова) „Где же религия молодости?“ — „Русское слово“ от 15/II-1907.
2) В. Розанов „Молящаяся Русь“. — „Новое время“ от 25/1-1907.
3) Обе эти статьи входят в книгу В. В. Розанова „Среди художников“. СПБ, 1914.
4) В. Розанов. „М. В. Нестеров“. — „Золотое руно“, 1907, № 2.

бедная, в 1921 году покончила с собой, бросившись в Неву; тело ее нашли весной и узнали только по кольцу на руке. Это мне рассказывала жена писателя, — Надежда Григорьевна Чулкова.

* * *

В последних классах школы Левицкой у меня была новая подруга, прямая противоположность Маруси Нагорновой. Она происходила из тихой и очень интеллигентной семьи, крайне скромной. Звали ее Лизой Дубинской. Отца у нее не было, она о нем никогда не упоминала, там, видно, была своя трагедия. Мать преданно и глубоко любила свою дочь и жила с ней у дяди — ученого Пулковской обсерватории (как его звали, не помню). Лиза Дубинская была высокая, некрасивая, мужественная и серьезная девушка. Она была мне беззаветно предана. С ней мы говорили о жизни, об интересных книгах, бродили по Павловску, так как каникулы я большей частью проводила в их семье. Это был мой родной дом, там я отдыхала и душой и телом. Потом, помню, у дяди внезапно случился инфаркт и он в три дня, в больших муках, скончался. Был он немец, человек либеральных взглядов, но, умирая, все читал Символ веры по немецки, — так рассказывала она мне о его кончине. Это была весна, шла пасхальная неделя и Лиза захотела отслужить панихиду по нем в православной церкви.

* * *

Мне бы хотелось несколько штрихов добавить к портретам моих сестер. Вспоминая сестру Варю, я только недавно осознала особенности ее характера и поняла глубже причины всей трагедии ее жизни. Варя родилась третьим ребенком у мамы и рождение ее было как-то нерадостно для всей нашей семьи. Варя родилась очень хорошенькой. В детском возрасте это была блондинка, с голубыми глазами, с красивым ртом, с пухленькими ручками, с удивительно спокойным и невозмутимым выражением лица. Она до четырех лет не говорила, а только издавала раздраженно нечленораздельные звуки, так как не могла облечь в слова свои желания. В семье очень боялись, что она будет совсем немая, и никому не пришло в голову тогда показать ее врачу. Теперь только я понимаю, что с ней надо было заниматься, разговаривать, и она начала бы говорить. Вот эта немота ее до четырех лет создала особен-

ности ее характера. Она привыкла кричать, и если что было не по ней, она все брала криком. Доходило до того, что на даче приходили и спрашивали: „Что вы бьете девочку, что она так кричит?“ И в семье приходилось ей во всем уступать. Однажды ее заперли в чулан в наказанье. И когда открыли чулан, то увидели, что она все лицо себе исцарапала. Когда ее показали врачу, то он сказал, что она нервна и ее строго наказывать нельзя.

Что было с ней делать?

Когда она немного подросла, то, чувствуя, что ею в семье тяготятся, она выдумала, что она подкидыш, и что у нее нет ни папы, ни мамы, ни крестного отца с матерью. (Крестный отец ее у нас не бывал, а крестная мать ее — Фрибис, лишь изредка нас навещала.) Варя неожиданно обратилась к нашей знакомой, писательнице Микулич, и просила быть ее крестной матерью. Мы все тогда очень удивились этому и смеялись, но Микулич отнеслась к этому серьезно, поцеловала ее и сказала, что она исполняет ее желание.

Росла Варя очень трудным ребенком, не любила читать, занята была очень своей наружностью, и как-то не подходила к нам, старшим сестрам, которые вечно сидели над книгами. Училась она тоже неохотно и плохо. Когда она стала постарше, ее отдали учиться в школу Левицкой, но и там она не училась и сильно шалила, — получала одни двойки. Пришлось и оттуда ее взять и отдать в гимназию Оболенской, где программа была облегченная и надеялись, что она ее легче усвоит. Отец, конечно, расстраивался таким ее отношением ко всему, но все же любил ее, ласкал, брал на колени и звал ее „беляночкой“ или „белым конем“. Когда Варя выросла, в 1917 году отец подарил ей свою книгу в трех выпусках „Из восточных мотивов“ и на первой странице книги написал:

„Нашей Варюше.
„Мы звали тебя всегда „Белым Конем“
От необыкновенного белого цвета
Кожи и белых прекрасных волос.
Ты всегда была упрямым конем
Гордым и смелым. Это к тебе шло, увы.
Но благоразумным. Ты была смела и
рассудительна

Смотри же не падай и не ложись.
Что может быть смешнее „лежачей Лошади“,
и вот
Этого смешного ты должна бояться.
И так, твой путь — гордо идти в жизни
Папа“. *

Надя была самым младшим ребенком в семье. Это имя ей дали в память об умершей первой дочери моих родителей. Это был прелестный ребенок: хорошенькая шатенка, с золотистым отливом волос, с умными серо-голубыми глазами, с очаровательным маленьким ртом, причем верхняя губа у нее была приподнята, так что видны были зубы, и весь рот как-то приветливо раскрывался в ласковой улыбке. Надя всех очаровывала, все были от нее в восторге. Мне она ужасно нравилась, я мечтала, что я окончу свою жизнь в ее семье, так как я была уверена, что она выйдет замуж. Но она, к моему душевному страданию, не обращала на меня никакого внимания. Обижалась она на меня и за то, что я была самым балованным ребенком, что мне покупали всегда самое хорошее, а Надя, как самая младшая, донашивала все мои платья. Эту обиду она сохранила на всю свою жизнь, и уже взрослой она меня часто этим попрекала.

Подруг у нее было бесконечное количество. Я вспоминаю ее в гимназии Стоюниной, как она бежит с лестницы, улыбающаяся, в голубом своем сатиновом передничке с белым воротником, а за ней стаей бегут подружки. Она была подростком, — худенькая, высокая и стройная, а ребенком когда была она, то очень забавно она ползала по полу и мы называли ее „пучком“ (редиски). Когда сестра Надя выросла, отец подарил ей экземпляр своей книги „Из восточных мотивов“ с надписью:

---

* Эта книга находится в библиотеке Государственного литературного музея в Москве. В этом автографе, так же, как и в остальных, приводимых мною автографах отца, сознательно сохранена своеобразная форма написания. Эта надпись отца в 1917 году — удивительна! Он словно предчувствует печальную судьбу дочери, старается поддержать ее дух. Судьба ее такова: после всех перепетий жизни, она умерла в 1943 г. в тюремной больнице в Рыбинске от дистрофии, вся полная надежды на выздоровление и возвращение домой, так как она была освобождена по болезни. О ее смерти мы узнали только в 1945 году.

„Нашей Надюше:
Мы зовем тебя „Пучком“
от того, что когда ты ползала маленькой
Потому что это было так
моментально, — будто по паркету бросили
„пучок редиски“.
Это имя я люблю.
И вот ты выросла. Стала почти большая.
Любишь читать. Это хорошо.
А помнишь, как ты семи лет, высунув
головку под занавеску,
Принималась в 10-й раз читать:
„Дюймовочку“ Андерсена
И вот спасибо тебе за утешение
Родителей детством.
Детство твое было прекрасно
Подними глаза к небу, и помолись
Чтобы была такая же прекрасная взрослая
жизнь.

Папа“.

Надю звали в семье еще и „Дюймовочкой“ за ее любовь к этой сказке Андерсена.

Когда Надя в 1918 году, после окончания Стоюнинской гимназии, вернулась в Троице-Сергиев посад, отец подарил ей свою книгу: „О подразумеваемом смысле нашей монархии“. С. Петербург, 1912 г. На этой книге имеется надпись отца:

„Дорогой Наденьке, в день ее Ангела 17 сентября 1918 г., когда мы так страдали в Сергиевом посаде, а она нам обещала сделать пирожок из ржаной муки с яблочками в день Ангела. А накануне отправили Варю и Васю прокормиться на юг, к дяде Тише в Полтаву. Папа ее, В. Розанов

Свою книжечку довольно любимую“.

После смерти сестры Нади, я среди ее книг нашла томик стихотворений Плещеева, с автографом отца, обращенный к ней:

„Помните:
Дарю
„Шаловливым ручонкам“
Нашей Нади

Папа В. Розанов“.

Мне очень хочется привести здесь отрывок из папиной статьи „Невидимый мирок“, которая была им напечатана в одной из газет. При разборе архива отца, я нашла эту вырезку и она мне так понравилась, что я ее себе переписала на память. Эта статья очень интересна тем, что она рисует папино настроение, а также очень живо меня и Варю, и кроме того дает картинку из счастливого, краткого периода нашей семейной жизни, совпавшего с расцветом творческих сил отца и всеобщим признанием его таланта...

„Ну, какая, подумаешь, занимательность — картинки под столом? Старый, неизломанный, но начавший ломаться, куда я, старый и ворчливый литератор, бросаю, скомкав, неудачные статьи, обрезки газет, газеты ненужные и др...

Возвращаюсь после кофе к письменному столу, к „литературной лямке“, и вижу самый отвратительный хаос. На мой окрик „что это такое?!“ на меня обертывается трое моих детишек, все девчонки (и народились-же) с повелительным: „Погоди, папа, садиться, сейчас уберем“. Разумеется, я не только „гожу“, но выразительно показываю, что туфлей ноги уберу под стол не только весь этот хаос бумаг, но и всех трех девчонок с ними.

— Убирайте все в корзинку. Что вы тут делаете?

— Разбираемся.

— Как разбираетесь? И что же вы думаете их заняло всего более? Золотистые ленточки с пачек новых покупаемых конвертов.

Вот вы и судите мир, что кому нравится.

Подняв маленькие отобранные кучки, они все три кричат мне:

— Посмотри, папа, какие мы прелести нашли! Эти „прелести“ и заключались в цветных бумажных ленточках, лиловых и всяческих конвертов и др.

— Ты, папа, чистую бумагу бросаешь, смотри!

И у каждой по 1/2, по 1/4 листа в руке.

— Ну, что-же?

— Мы будем рисовать.

Но мне окончательно некогда, и энергичным движением ноги я показываю им, что через секунду мое место и покой должен быть обеспечен. Действительно, через секунду корзина опять очутилась под столом, бумажек нет на полу, и похитители с маленькими кучками „избранного товара“ побежали в детскую.

Для меня это так отвратительно, а их занимает. А еще политики и философы хотят угодить миру.

С тех пор, как мои дети узнали новую Колхиду с новым золотым руном в ней, т. е. неистощимую „корзину“ новостей (ибо туда в разное время разное попадает), я потерял кабинетный покой.

Впрочем, это случается не чаще раза в неделю. Очевидно, сокровищ корзины они долго не знали и открыли случайно, как и Колумб Америку.

Теперь, когда я пишу, углублен, пишу о священных цветах (красках) в древних семитских храмах, вдруг около полы халата самое неуловимое движение. В задумчивости и еще в мысленном восхищении от цветочной раскрашенности в скинии Моисеевой, я перевожу взор с чистой бумаги и вижу худенькую свою Танюшу, как она на четвереньках, стараясь не задеть моих ног, пробирается под стол к заветной корзинке.

— Ты, худышка, куда?

— Я, папочка, осторожно. Ты сиди. Я не помешаю.

— Да ты чего?

— Я, папочка, оставила в корзинке картинку.

— Какую картинку?

— Из Нового времени китайца.

Это карикатура талантливого „Сорé“. И на что она им?

Я принимаю патетический тон.

— Как я люблю вас, дети, а вы меня не жалеете. Папочка устал, папочке некогда, а вы все под стол и шуршите около меня. Вам это забава, а мне лишнее утомление.

Лицо ее сморщилось.

Так как я романтик, то раз принял окончательно патетический тон:

— Вот, Танюша, я проживу еще десять лет, не более, и умру.

Она тверда. Я собирался спать после обеда и укладывал на кушетку подушку и тяжелое байковое одеяло, ибо люблю укутываться, как Тарас Бульба.

— Ты не понимаешь, что значит „умру“. Папенька станет окончательно старый и „умрет“. Его положат в гроб и вынесут из дома.

Она так же тверда.

— Вынесут на кладбище и похоронят, т.е. зароют в землю, и я никогда более не вернусь в дом.

Она стояла все так же. Лицо стало ужасно грустное. Недвижимое.

— И вы останетесь одни с мамой.

Я раздевался и вообще приготовлялся к сонному комфорту. Ее движения были теперь связанные, без оживления, без веселости.

— Ну, прощай же, Таня.

И я поднял ее на руки. Ей семь лет. Она крепко обвилась худыми, как плеточки ручками около шеи, и прижималась головой к голове.

— Ну, ничего. Десять лет еще долго.

— Не говори этого никогда, папа, зачем ты это говоришь. Какой ты дурной.

И слегка ударила меня по голове.

— Ну, теперь затвори дверь и, пожалуйста, потише в детской. А то я все просыпаюсь от вашего крика и потом не могу заснуть.

И я поставил ее на пол.

— Я сейчас, папочка, уйду, только с тобой полежу немножечко.

И она уже перекувернулась через меня к стене, т. е. к спинке кушетки. Я однако обернулся в одеяло, а она лежала снаружи. Было то блаженное состояние, когда „ни сон ни явь“. Она проводила ладонью то по лицу, то по волосам.

— Ну, что?

Она тихо плакала. Держа руку на ней, я чувствовал, что тельце ее ужасно сжималось, как бы не в силах чего-то выдохнуть, и все набирала воздуха. Лица я не видел. Было темно, да я почти спал.

— Ступай же, малюточка, Бог с тобой. Мне пора спать.

Так же легко, как и туда, она перевернулась и „сюда“ и стала около головы. Крошечным крестиком она крестила мне щеку, пальцы чуть, чуть касались кожи.

— Прощай, прощай!

Это говорю я. Она усыпала крестиками плечо, бок, все какими-то маленькими и торопливыми. С какой-то заботою и попечением.

— Хорошо. Вижу, что любишь. Не плачешь?

— Я еще раз только поцелую.

И привскочив и упершись как-то в кушетку, она загнула голову „туда", опять к стенке и крепко, по-мужски, и больно поцеловала меня в губы.

— Совсем больно. Ты мне мешаешь спать.

Дверь скрипнула и притворилась. Легкие шажки простучали по комнатам. В детской послышалась прибавка оживления. Но физиология брала свое и Морфей унес меня в свои владения.

И кто-же? Детишки же открыли мне, что я стар. Мне это в голову никогда не приходило. У меня почти нет седых волос. Только раз, играя утром в воскресенье с ними, я прилег на ковер и мне села на бок 4-летняя Варвара, самая из всех тяжелая девчонка, как чугунная трамбовка. Все над ее крепостью у нас смеются, а на руки ее поднять положительно неприятно по тяжести.

Вот она сидит. Я, чтобы передохнуть в игре, закрыл глаза, притворился что-ли „мертвым". Только слышу осторожный и самый тихий шопот под ухом.

— Сойди, Варя. Папе тяжело. Ведь папенька у нас старенький.

Мне даже обидно стало. Серьезно — обидно. Никто меня таким не считает. И какие признаки? Мне стало обидно и грустно.

— Ах, какие вы смешные? Да почему же вы знаете, что я старенький? И что такое старенький? Что вы про это знаете?

Мне было смешно и грустно. Конечно, отцу радостно, что дети такие сообразительные, но человеку все-таки грустно, что он стар. Но этот их шопот до странности запомнился, и я с него считаю начало своей старости". Ибис (псевдоним В. Розанова).

Отец очень интересовался нашими детскими письмами и своими письмами к нам. Он просил нас сохранять его письма к детям, что мы исполнили. А наши письма к нему тоже тщательно хранил.

Вот письмо отца из-за границы к нам, детям, на Украину в 1910 г.

„Какие чудные писали письма все дети.

Какие они умные, а главное, и благородные. И какое счастье — уважать своих детей.

Это не всегда бывает, далеко не всегда.

Какая Вера стала славная последние два года, и Бог даст, еще станет лучше. Может к ней вернется золотое сердце детства.

Помнишь, какая она была, когда мы ездили с Эммочкой в Ригу, и вообще эти годы. Таню же мне жаль — уж очень она серьезна и мало в ней резвости. Часто думаешь о судьбе всех: что-то выйдет из них? Как Бог устроит? Не будет ли кто несчастный.

„Удача“ в учении — не самое главное. Придут „чужие злые люди“, — или равнодушные, что также скверно, и свою личность сомнительную вмешают в твою жизнь. Как жалко, в сущности, уже погиб такой чудесный „в зародыше“ мальчик, как Миша Саранчин. Все уже „подписано и решено“, а когда, никто не видал, не уловил момента.

Вот и ты, наша милая (Шура, подразумевается), за которую (за утомление твое) мама все читает акафисты, в каком-то нерешительном, туманном положении. Как хотелось бы тебе счастья, радости, не думай, что я говорю тебе о замужестве: теперь-то ясно вижу слова Евангелия: „не каждому это его удел“. Но как хотелось бы, чтобы ты посмеялась и иногда „от души“ побежала куда-нибудь с подругами и вообще испытала „молодое обыкновенное“.

А годы уходят, все лучшие годы...

В себя ли заглянешь?

Вот и вышла правда поэзии.

Какова судьба Розановых? Бутягиных?

Боже, как страшно жить: лучшие расчеты не предупреждают самых ужасных проигрышей:

Все темно в мире.

И думай только о бедной душе своей: „Помилуй мя, Боже“.

Прощай. Целую тебя крепко, наша милая, славная Шура, наша верная Шура.

Вот 54 года. Как-то особенно хватаешься за последнюю черту. Страшишься „расползания врозь“. Страшишься одиночества. Вот наша милая мама только что задремала. Она самая верная в семье. У нее и нет ничего кроме „верности“, она из нее одной состоит. До чего она ждала в Мюнхене письма детей. Сколько раз таскала меня на почту. Хотела телеграфировать вам. Как

она к бабушке привязана, к Дмитр. Андр. и ко всем, кто сам с нею не порвал связи. Она и связывает нас всех, и, в сущности, всех охраняет, сделала всех, а кажется только „считает белье, да копейки".
Так-то идет жизнь, так-то она делается.
Великий это дар — „делать жизнь". Редкий.
Милой Домне Васильевне поклонись. * Она такая славная и, кажется, тоже „верная" дому нашему, насколько это можно чувствовать чужому человеку.
Мама к ней тоже очень привязана.
Паша и Аннушка еще легкомысленны.
Детишек: Васю, Надю, Варю, Таню, Верочку обнимаю. Все хорошие письма прислали.

Папа".

* * *

„Милая Варя! Ты первая прислала нам письмо и оно прилетело к нам, как ласточка. Спасибо. Оно очень подробно и хорошо. Я прочитал его Елене Сергеевне и она сказала: „Варя может быть очень хорошим ребенком, но она не сдерживается, и тогда делает безумные поступки". Говорили много и о Тане. Елена Сергеевна очень ценит Таню, уважает ее характер и любит ее душу. Прощайте все! Целуем всех крепко, крепко.

Папа и мама".

* * *

Летом мы всей семьей в 1910 году уехали в Малороссию, близ Полтавы, а родители вместе с начальницей школы, Еленой Сергеевной Левицкой, уехали в Германию, на курорт „Наугейм", так как мама все болела сердцем. Больна была и Елена Сергеевна. Мы, дети, лето провели очень хорошо, родители часто писали нам из-за границы (письма эти сохранились и находятся в Государственном литературном музее). Помню, с дачи мы ездили в Киев. Сестра Аля, Вера и я. Были во Владимирском соборе, который на меня произвел сильное впечатление, особенно орнаменты Врубеля и „Рождество Богородицы" Нестерова. Нестеров был в молодости мой любимый художник. Много открыток из Владимирского собо-

---

* Д. В. — экономка в доме. Паша и Аннушка — молодые домашние работницы.

ра было у меня тогда, потом я их кому-то подарила. Помню, как мы ходили с сестрой Алей в Кирилловскую церковь смотреть роспись Врубеля. Церковь была в честь „Сошествия Св. Духа на апостолов". Она запечатлелась в памяти навсегда. С тех пор был мне особенно дорог Врубель, а сестра рассказала мне о его трагической кончине. Ходили мы с Алей и в Киевские пещеры, они меня очень заинтересовали, но и напугали своей тишиной и таинственностью. Спускались мы в пещеры в темноте со свечами; особенно мне запомнились две фигуры вросшие в землю — святителей Иоанна и Иакова. Разъяснения давал монах Киево-Печерской Лавры.

Осенью 1910 года мы переехали на новую квартиру на Звенигородскую ул. Мама с папой приехали раньше нас, чтобы убрать квартиру, а мы приехали с Украины через несколько дней. Помню, утром, на другой день, сидим мы за утренним чаем в столовой. Мама очень оживленна, много рассказывает о поездке за границу, о хороших тамошних порядках, о том, как они с папой ездили кататься с искусственных гор после своего лечения.

Все казалось благополучно, но у нас екало сердце, мы были удивлены: маму не узнавали, у нее было странное выражение лица и не свойственная ей говорливость. Мы, дети, притихли... Вдруг, мама как-будто поперхнулась чем-то и начала медленно на один бок сползать со стула... Мы страшно испугались, не понимая в чем дело. Отец вскочил со стула, бро сился к ней, думал, что она поперхнулась хлебом, неосторожно начал стучать ей по спине, давать глотать воду, но ничего не помогало, объяснить она не могла ничего, что с ней случилось, — язык у нее онемел.

Бросились за врачом, была ранняя осень, все знаменитые врачи были в отъезде, пришлось вызвать с лестницы случайного врача — Райведа, и он сразу определил — паралич. Язык постепенно стал отходить, она стала говорить, но левая рука плохо поднималась, а правая нога еле двигалась и как-то волочилась по полу. Затем ее стали лечить известные петербургские врачи, но ничего не помогало, она осталась на всю жизнь наполовину парализованной.

Наша жизнь в корне изменилась, дома было очень мрачно, отец часто плакал. Мама мало говорила, ко всему стала безучастна, сидела в кожаном глубоком кресле или лежала на кушетке. Сама она больше не могла ничего делать, даже причесаться. Все должна была делать горничная или я, когда

бывала дома. Хозяйство уже вела Домна Васильевна; она же разливала чай за столом.

Мама теперь обыкновенно лежала на диване, больная, требовала, чтобы все двери были открыты, и наблюдала, что мы делаем в своих комнатах.

Читала мама мало, больше акафисты преподобному Сергию, Богородице, Иисусу Сладчайшему; читала также все папины статьи в газетах. Эти статьи прочитывала она очень внимательно и серьезно, часто папу останавливала, когда видела, что он уж очень резко выступает в печати, всегда говорила: „Вася, это ты нехорошо написал, слишком резко, — обидятся на тебя", или же: „слишком интимно пишешь о детях, это не надо в печать номещать". И большей частью отец слушал мать, выбрасывал целые куски написанного или же не отдавал вовсе в печать. Папины книги она читала все, по нескольку раз от доски до доски и как-то интуитивно очень все понимала, хотя образования у нее не было и писать она почти не умела.

А почему она не получила никакого образования, история этого такова: она жила со своей матерью Александрой Андриановной Рудневой в деревне Казаки; отец у нее умер. Там была двухклассная школа; в то время считалось, что девочкам из бедной семьи учиться не следует; мама как-то нашалила в школе, ей поставили по поведению 4, бабушка очень обиделась за дочь, значит ее дочь опозорена за безнравственность: так она поняла, — и забрала ее домой, — вот она ничему и не научилась, особенно грамматика ей не давалась. Папа пробовал ее учить, но потом махнул рукой. Но зато дома она была очень хорошей хозяйкой, была очень аккуратной, старалась и нас приучать к порядку.

В это время я готовилась к переходу в гимназию Стоюниной, где уже учились мои сестры Вера и Надя. Причиной моего перехода из школы Левицкой, где я проучилась до 5-го класса, было то, что я не выдержала сурового режима школы и стала сильно болеть.

Мне надо было готовиться к экзаменам, так как программы не совпадали и я очень боялась экзаменов. В школе Левицкой была латынь и большая программа по математике, а здесь был уклон в сторону естествознания, истории и географии. Пришлось все подгонять.

По русскому языку в гимназии Стоюниной был преподаватель Владимир Васильевич Гиппиус (двоюродный брат

известной писательницы Зинаиды Гиппиус). На вступительном экзамене он мне задал тему для сочинения: „Образ Татьяны в „Евгении Онегине". Я написала на четверку. С облегчением я вздохнула, узнав, что по русской грамматике экзаменовать не будут. В ней я тоже была слаба.

Стоюнинская гимназия была частная гимназия с либеральным оттенком и новыми веяниями в педагогике, с широкой программой и с индивидуальным подходом к детской душе. Там легко дышалось, были интересные лекции, особенно в старших классах. Я и Вера любили гимназию; Надя ее боготворила.

Когда я была в шестом классе мы опять ездили в Киев. Город был очень красив, весь в зелени. Остановились мы в общежитии, недалеко от музея. Осмотрели музей, который мне очень запомнился иконой Божией Матери — работы художника Врубеля, и был весь как-то очень любовно устроен. Других картин не помню...

Ночью, разговаривая между собой обо всем виденном, я впервые услышала критику на правительство, что оно притесняет украинский народ, заставляя в школе вести уроки на русском языке.

Помню, ходили мы на Крещатик, смотрели памятник Владимиру Святому над Днепром, вновь посетили Владимирский собор; к сожалению мы не осмотрели Софийский древний собор XII века, а чудесный Андреевский собор, где почивают мощи св. Варвары, — видели только издали... Были на могиле Аскольдовой над Днепром. Также мы не были ни в пещерах, ни в Кирриловской церкви. Гимназия была либеральной и учительница не сочла нужным показать нам пещеры и Кирилловскую церковь.

* * *

Во время болезни мамы отец очень тосковал и даже плакал. Он написал письмо Павлу Александровичу Флоренскому, прося его приехать к нам. И тут я увидела Флоренского в первый раз. Это было под вечер, конец зимы. На звонок горничная открыла дверь, я увидела молодого, стройного священника, с маленьким узелочком в руках. Это было так необычно, и я очень удивилась. Мы засуетились, стали искать чем бы его накормить, и потом он пошел к папе в кабинет. Он пробыл в то время у нас недолго — недели полторы.

Помню, как зимой, в 1912 году, однажды к нам приехала Айседора Дункан. После того, как папа дважды был на ее танцах и поместил отзыв о ней в газете, она приехала познакомиться с ним. Она была очень мила, говорила по-английски (при ней был переводчик), подарила отцу на прощание три фотографии, две из них с детьми, с надписью отцу. Мы тогда все очень увлекались Дункан. Отец, я, сестра Аля и Наталья Аркадьевна Вальман * ходили в Мариинский театр смотреть ее танцы. Помню, она танцевала, передавая в танцах музыку Вагнера (Тангейзер) и Брамса. Мамы с нами не было, она уже никуда не выезжала и, больная, целыми днями сидела в кресле. Два раза по ее просьбе возили ее к чудотворной иконе „Всех скорбящих радости".

Вспоминаются наши проводы Айседоры Дункан на вокзале, когда она покидала Россию. Отец, я, Аля и Павел Александрович Флоренский поехали ее провожать. Отец хотел своему другу показать ее одухотворенное лицо.

Вскоре мы прочитали в газетах ужасное известие о трагической гибели ее детей в Париже, при автомобильной катастрофе. С карточки смотрела на нас счастливая семья — мать и двое очаровательных детей.

В 1912 году припоминается мне один курьезный случай. Очень известный коллекционер древностей, Лихачев пригласил моего отца посмотреть его рукописи и коллекции. Отец мне сказал, что и я могу с ним поехать, мне будет это очень интересно. Я взволновалась, — я в молодости была очень застенчива и быстро терялась. Мне очень захотелось поехать, но показалось очень страшно. Думаю, такой известный коллекционер, наверно очень богатый человек, у него, должно быть, роскошная обстановка, и я себя там буду чувствовать неловко. Я начала медленно одеваться; ломая голову, что мне надеть, как причесаться, как я буду выглядеть. Тянула-тянула я это дело. Вдруг, не знаю почему, мне вздумалось в парикмахерскую идти, — завиться. Я потихонечку спустилась вниз и в ближайшую парикмахерскую зашла в зал. Меня отвратительно завили мелким барашком, — я себя не узнала. Поднимаюсь по лестнице... навстречу — отец. Он сухо мне говорит: „Ждал тебя, ждал, теперь еду, ждать тебя уже не буду".

* Вальман — наша учительница немецкого языка и подруга сестры Али.

Пришла домой сконфуженная, расстроенная, стала развивать свои кудри, и до сих пор не могу простить себе своей глупости. Пропустить такой случай увидеть богатейшую, интереснейшую коллекцию! Вот наказание мне за мою тщеславную суетность!

Примерно в 1911—1912 гг. стал у нас бывать в Петербурге молодой скульптор Шервуд. Он приходил большей частью днем, мало разговаривал, был очень всегда угрюм. В детстве мне запомнилась его выразительная голова — голый череп, худая фигура и умные выразительные глаза. Мой отец говорил, что ему очень трудно живется, у него много детей и он мало зарабатывает. Он был сыном того известного архитектора, по чертежам которого было создано здание нынешнего Исторического музея в Москве. Слушая моего отца, что у Шервуда много детей, я очень изумлялась. Мне казался он совершенно неподходящим к семейной жизни.

В 1930 году я встретила его уже в Сергеевом посаде, в Лавре, около могил за оградой. Он одиноко бродил и рассматривал надписи на памятниках. Я подошла к нему, поздоровалась, он меня узнал — мы оба мало тогда еще изменились. Но он ничего не сказал и молча ушел.

Впоследствии я узнала, что Шервуд был признан в наше время и его работа „Солдат с ружьем" украшает одно из общественных мест в Москве. В настоящее время его уже нет в живых. Эти сведения о нем я имею от его родственницы, художницы Татьяны Николаевны Грушевской, которая находится также в родстве с семьей Фаворских и проживает теперь в городе Загорске (б. Троице-Сергиевом посаде).

В 1911—1912 гг. стал бывать у нас Василий Васильевич Андреев, он привозил билеты на свои концерты, был очень мил и любезен. Раз мы ездили — отец, я и старшая сестра Аля к нему в гости на Васильевский остров. Он жил со своей старушкой матерью, показывал нам большую коллекцию балалаек и мандолин, которые он собрал.

Вообще концерты его были замечательны по тонкости, изяществу и благородству. И мы всегда с отцом ездили в консерваторию его слушать. Раньше отец мой написал статью об этих концертах и о необходимости поддержать материально и морально хорошее начинание Василия Васильевича Андреева. Государем была отпущена субсидия и дело продолжало развиваться. Андреев видел, как грустен мой отец, как ему тяжело и плохо жилось последние годы жизни, он старался его

развлечь, приезжал со старушкой — певицей Мариинского театра, которая под аккомпанемент Андреева на нашем плохом рояле, пела старинные чувствительные романсы; отец умилялся, а мы, дети, потихоньку подсмеивались.

В 1966 году приезжал в Загорск оркестр Осипова и я узнала, что В. В. Андреев умер в 1919 году в Петрограде от воспаления легких, простудившись на концерте, данном красноармейцам.

* * *

В 1913 году, летом, родители поехали в Бессарабию, в имение Апостолопуло, близкого друга моих родителей. Это была богатая помещица, очень образованная и культурная. Она пригласила родителей моих отдохнуть. Первый ее муж был преклонного возраста и очень богат. После смерти он оставил ей по завещанию громадное наследство, но только с условием, что она после его кончины не выйдет ни за кого замуж. Детей у нее не было, и она принуждена была жить в этом имении в одиночестве. У нее был управляющий имением, некий Драгоев, человек неумный, но добрый и очень ее любивший. По-видимому, они были близки, но не гласно, поэтому у них никто не бывал, и это была очень невеселая жизнь. Драгоев всегда старался приумножить его богатства, а когда не мог рожь продать по той цене, какую назначил, то выходил из себя и во всем винил евреев. Он очень настроил отца против евреев; с тех пор изменился взгляд отца на евреев — во всех несчастьях русских он всецело стал винить евреев. В это лето отец мой написал книгу под названием „Сахарна“ (так называлось поместье Апостоолпуло), с выпадами против евреев, которые ловко скупают хлеб из-под рук помещиков. Книга эта была сброшюрована, но в продажу не поступила, не успела, — началась война 1914 года и ее не напечатали. В единственном экземпляре она хранится в Государственном литературном музее.

Летом 1913 года, когда родители жили в Бессарабии, мать моя, по болезни, не могла себя обслуживать, и поэтому она вызвала к себе дочь Варю, чтобы та помогала ей одеваться и другое кое-что делать для нее, так как слуг в имении было мало и все были всегда очень заняты по хозяйству, а маме было трудно одной. Варя была очень смелая и маленькой девочкой, совсем одна, приехала в Бессарабию. На станции ее встретили. Хозяйка ей очень понравилась, хотя и была очень

строгой. Варя водила хороводы с деревенскими детьми и танцевала, что она так любила (в то время она еще училась в школе Левицкой). Мы же, все дети со старшей сестрой Алей, Натальей Аркадьевной Вальман и кухаркой Катей, которая была очень предана моей старшей сестре, уехали на лето в Троице-Сергиев посад. Еще зимой сестра Аля с Н. А. Вальман ездили туда и им очень понравился Сергиев посад. П. А. Флоренский снял нам дачу около Вифанского монастыря и мы туда переехали на лето. Посещали церковь, ходили в тамошний музей — бывшие покои митрополита Платона, законоучителя Павла I и любимца и духовника императрицы Екатерины II. Почти все вещи в этих покоях были подарки государыни и представляли большую художественную ценность — портреты, хрусталь, книги. Сестра Аля удивлялась, как возможно такие ценности оставлять на попечение единственного сторожа — монаха *. Церковь была тоже очень интересная. В ней была устроена гора „Фавор" и были скульптурные изображения разных животных. Ни в одной церкви потом я ничего подобного не видела. Жаль очень, что не удалось сохранить до наших дней такую оригинальную постройку.

На богатых монастырских тройках ездили в Троице-Сергиеву Лавру, часто бывали в семье Флоренских. Всегда были очень интересны и содержательны беседы Павла Александровича Флоренского. Он в то время служил по воскресеньям обедню в приходской церкви при Красном Кресте и профессорствовал в Духовной Академии, которая частью помещалась в „Царских чертогах" Троице-Сергиевой Лавры.

Вспоминается, как однажды к нам на дачу приехал извозчик и привез дородную пару: мужчину и женщину — это была чета Александровых. Они были так толсты, что еле-еле помещались в пролетке, которая все время накренялась. Александров подарил нам свои глупые стихи и мы долго забавлялись ими, сидя на кроватях по вечерам. Когда-то Александров был редактором „Русского обозрения", где у него сотрудничал мой отец, а после закрытия журнала, переехал, по благословлению отца Амвросия, в Троице-Сергиев посад и решил теперь возобновить с нами знакомство. Впоследствии его жена, Евдокия Тарасовна, оказывала нам серьезные услуги, но об этом будет рассказано после. Отец недолюбливал Анатолия

---

* В настоящее время они перевезены и расположены в Историко-художественном музее г.Загорска, как предметы XVIII века.

Александровича, так как тот не выплатил гонораров сотрудникам журнала.

В 1913 году я уже училась в седьмом классе Стоюнинской гимназии. Окончила я семь классов на пятерки и четверки, но по химии была тройка, и поэтому серебряной медали я не получила и перешла в восьмой дополнительный педагогический класс. В этом классе мне было интересно и легко учиться. Логику и психологию у нас читал Николай Онуфриевич Лосский. Лекции по искусству читали с волшебным фонарем, преподавали нам и Закон Божий; мы давали пробные уроки в младших классах гимназии. Тут я легко и свободно кончила восьмой класс с весьма удовлетворительными отметками по всем предметам. Помню выпускной вечер и помню то, что мне почему-то было очень грустно. Сестра Аля подарила мне две высокие вазы с большими букетами белой и лиловой сирени... Но, Боже, как было у меня неспокойно на душе!

Нужно было решать свою судьбу... а как это трудно, всем известно.

В 1913 году сестра Вера кончила гимназию Стоюниной, раньше меня на год. Последнее лето она ездила с гимназией в Соловецкий монастырь. Эта поездка была решающей в ее жизни. Вера стала мечтать о монастыре. Вскоре она выбрала маленький монастырь — Воскресенско-Покровский, на станции Плюсса, близ Луги, где настоятельницей была мать Евфросинья, дочь известного общественного деятеля того времени — Арсеньева.

Вера поступила туда послушницей и работала при кухне. Мы с мамой ее навещали. Она была очень довольна жизнью в монастыре, но заболела туберкулезом и отец поместил ее в санаторий возле Петрограда.

Отец часто навещал ее в санатории, и я ездила однажды осенью, очень после этого простудилась и стала болеть невралгией. В санатории было тяжело. Вера томилась, да и плата была высокая, отец с трудом выплачивал ее.

* * *

В 1915 году передо мной встал вопрос, что же мне делать дальше. Я мечтала о поступлении на Высшие Бестужевские курсы на историко-филологический факультет по отделению философии. В этом поддерживала меня и сестра Аля — она

ученых женщин. Во всей России было тогда всего три высших учебных женских заведения. В Москве — курсы Герье, в Петрограде — Бестужевские курсы и частные курсы Раева, не дававшие права преподавать в гимназии. Из этого можно понять, как было трудно поступить. Но из гимназии Стоюниной с хорошими отметками принимали без экзаменов и я поступила на Бестужевские курсы.

С какого времени я считаю, что началась моя юность? Пожалуй, с 7—8 класса гимназии Стоюниной, а затем с поступлением на Бестужевские курсы. Тут я, под влиянием Лосского, увлеклась философией и надеялась, что я лучше буду понимать работы моего отца и в будущем могу быть полезной в издании его работ. Папа смеялся: „Зачем тебе философия, чтобы понимать меня? Это совсем необязательно“.

Помогли ли мне в жизни занятия философией? Скажу, да. Я легко, сравнительно, разбиралась в книгах и в жизни и умела логически связывать явления. В обыденной жизни я была очень тиха, не любила шума, очень сердилась, когда обижали учителей в школе и дразнили их. Я всегда шла в разрез с классом, защищая учителей. Поэтому я была плохим товарищем в школе и в гимназии. Обыкновенно у меня были одна-две подруги, с которыми я была близка. Так, например, в школе Левицкой это были — Маруся Нагорнова и Лиза Дубинская (последняя в настоящее время — врач на пенсии, с которой мы переписываемся), а в гимназии Стоюниной — Надя Цейтлин, дочь издателя альманаха „Шиповник“. Я изредка бывала в их доме, она же — никогда. Бывало, после классных занятий в гимназии, мы с ней долго бродили по улицам Петербурга, беседуя на религиозно-философские темы. Уже в революцию я узнала, что эта бедная Надя умерла в молодых годах от брюшного тифа.

* * *

Шел 1915 год, второй год мировой войны. Помню бесконечные сходки студентов с обсуждением, следует ли жертвовать на войну или нет. Мнения расходились. Вспоминаю и другое, как одна курсистка спрашивала меня с удивлением, неужели есть такой образованный священник, который верит в Православную церковь (это о Флоренском), и не могла поверить, что есть. Я пожала плечами и отошла, — что с ней

мне было говорить. Я выросла в другой среде, в других понятиях.

Я увлекалась лекциями Лосского. Он читал тогда курс: „Мир как целое". Я занималась у него в семинаре по предмету: „Введение в философию". Мне он дал такую тему: „Сила и материя" по Бюхнеру. Я разобрала его сочинения и сделала вывод, что Бюхнер жил раньше Канта, потому что после Канта он не мог бы сделать таких ошибок. Лосский засмеялся, поправил меня, но сочинением в целом остался доволен. Сдав экзамен по немецкому языку, я уехала одна жить в Троице-Сергиев посад. От занятий и серьезного чтения, а также от тяжелой обстановки в дома из-за болезни матери и удрученного состояния отца, я сильно разболелась. Врачи нашли у меня острое малокровие, запретили на год учиться и настаивали на перемене обстановки. Вот тогда я и уехала в Троице-Сергиев посад.

В этот же злополучный 1914 год в нашей семье разразились события, имевшие громадное влияние на всю последующую нашу семейную жизнь. По настоянию Мережковского, Зинаиды Гиппиус и ее двоюродного брата, Владимира Васильевича Гиппиус, моего отца Василия Васильевича исключили из Религиозно-философского общества за его правые статьи в „Новом времени" против евреев во время „дела Бейлиса". Дело было очень громкое, в нем принимали участие адвокаты, врачи, и все настаивали, что в XX веке невозможны такие фантастические изуверства. Отец же утверждал свою точку зрения и указывал на Каббалу и Талмуд, где видел намеки на возможность такого ритуального убийства. У отца был Талмуд, который был весь испещрен его заметками. После смерти родителей и раздела имущества, Талмуд достался Варе, а потом А. Александрову, и где он потом затерялся, — неизвестно. Я наводила справки в Ленинской библиотеке, в Сергиевом историко-художественном музее, куда перешла часть музейных вещей Александровых после их кончины, но он не нашелся. Это было очень жаль, так как там были очень ценные заметки Василия Васильевича, о которых говорил мне С. А. Цветков, но и он не мог отыскать Талмуда.

Из-за „дела Бейлиса" вся семья наша очень волновалась. Ася восстала против отчима и даже ушла из дому с Натальей Аркадьевной Вальман и поселилась в отдельной квартире на Песочной улице. Мы, дети, тоже сильно переживали эти события. Ведь мы учились в либеральной гимназии, где боль-

шинство было богатых евреев, и все они у нас допытывались, неужели правда, что отец ваш такого мнения об евреях? Сестра Вера, будучи уже послушницей монастыря, очень защищала отца и даже присутствовала на Религиозно-философском собрании, когда отца исключали...

После этой истории к нам приехал Вячеслав Иванов, поэт, и возмущался, как возможно исключение из Религиозно-философского общества человека, который инако думает, чем все.

Но с тех пор положение отца резко изменилось, никто у нас из прежних знакомых не стал бывать, кроме Евгения Павловича Иванова, который продолжал нас посещать. Отец в это время много переписывался с Флоренским. * Затем у нас появились новые знакомые. В это время отец выпустил еще несколько очень правых книг — стал писать в журнале „Вешние воды“, так как в газете „Новое время“ отца неохотно печатали. А. С. Суворина уже не было в живых, редактором был его сын Борис. Из редакции „Новое время“ отец всегда возвращался очень грустным и морально убитым. Он начал заметно стареть, болеть и мы очень за него беспокоились.

В это время бывали у нас: Голлербах, которому отец симпатизировал, а также редактор „Вешних вод“ — некий Спасовский, которого недолюбливала моя сестра Александра Михайловна; бывала и друг сестры — Гедройц, — талантливый хирург — женщина, сделавшая впервые трепанацию черепа. Она работала в лазарете в Царском Селе и приезжала иногда к нам. Она рассказывала нам, что государыня хочет мира, защищает немцев, а между тем мы знали, что Александра Федоровна получила воспитание при английском дворе и вовсе не была так привержена к немцам, но она видела, что война идет неудачно, очень много жертв, что мы не готовы к войне и желала мира с Германией.

Все это было очень тяжело и страшно... В это время отец издавал работу „Из восточных мотивов“.

* * *

Продолжаю свой рассказ. Итак, в 1915—1916 гг. я уехала в Троице-Сергиев посад. Он произвел на меня сильнейшее впечатление, особенно Троицкой собор, иконостас, хор из мальчиков в 40 человек; затем поездка в Зосимову пустынь,

---

* Переписка не сохранилась.

чтение летописи Дивеевской обители о Серафиме Саровском, а также чтение книги Флоренского „Столп и утверждение истины“, укрепили меня в вере.

Почти каждый день я ходила к ранней обедне. Война все продолжалась, с продовольствием становилось все хуже. Сестра Аля присылала мне 40 рублей ежемесячно, 20 рублей я платила за комнату в Рождественском переулке, а 20 рублей стоила еда. Одно время я столовалась в семье Флоренских и была очень благодарна им за это. Денег, конечно, они с меня не взяли. Жила я в той самой комнате в доме Горохова, в которой некогда жил иеромонах Илларион — инспектор Духовной Академии, с которым мой отец дружил. Впоследствии он стал епископом, был сослан и, проездом из одной ссылки в другую, скончался в Петербурге в больнице. О прежних его прилежных занятиях в Академии рассказывала мне моя квартирная хозяйка Горохова. В то время, когда я жила одна в Троице-Сергиевом посаде в 1916 году, я почти каждый день была в семье Флоренских. Мне нравился их спокойный дом, тихие, послушные дети, заботливая теща Флоренского, Надежда Петровна Гиацинтова, приветливая жена Павла Александровича — Анна Михайловна, и интересные беседы с Павлом Александровичем. Он видел отлично мое убитое душевное состояние; так рано пошатнувшееся здоровье, неудовлетворенность и недовольство собой, печаль о неустройстве нашей семьи, болезнь бедной матери, полная растерянность от всех обстоятельств жизни. Он чувствовал, что я слишком отвлеченная, что меня необходимо поставить на землю, старался привить мне какие-то практические навыки, обращал мое внимание на бытовую сторону жизни, которую я то время совершенно презирала и не выражала совершенно никакого к ней интереса. Тут он высказывал вообще свой взгляд на жизнь, говорил, что нельзя сосредотачиваться только на одной духовной стороне жизни, считал это даже грехом. Говорил, что дух и плоть — это одно, все связано и что внимание должно быть обращено и на физическую сторону жизни — это угодно Богу. Он всячески отговаривал меня от чрезмерной аскетической настроенности жизни и чтения очень высоких духовных книг.

Павел Александрович предвидел здесь как очень умный человек, возможность духовного срыва и боялся за меня. За это я ему осталась очень благодарна. Я все больше и больше привязывалась к их семье, особенно к нему. Я даже не могла

подумать, как же я буду жить в Петрограде в своей семье без него. Судьба помогала мне. Из родного дома приходили печальные вести. Вера все болела туберкулезом и лечилась в санатории. Варя и Надя учились еще в гимназии, Вася служил в интендантстве армии, не кончив Тенешевское училище. Отец с матерью оставались с двумя сестрами — Варей и Надей в Петрограде. От мамы в посад приходили печальные письма и П. А. Флоренский посоветовал мне ехать домой. Я уехала с грустным чувством. Тогда мне казалось, что более интересного, глубоко-духовного, умного и замечательного человека я в жизни не встречала и не встречу. Все мне в нем нравилось: и тонкая, интересная беседа и даже его наружность. Другие находили его некрасивым, а мне он казался прекрасным. Особенно мне нравилось его изящество какое-то, и внутреннее, и внешнее. Оно очаровало меня и ввело меня в некоторое заблуждение. Я считала, что это тот человек, который может мною духовно руководить. Теперь мне кажется, что я глубоко ошибалась, но тогда я этого не понимала. В сущности, он был глубокий пессимист, в нем было мало благодати и много рационализма. Мне кажется, он и сам это сознавал. Потому что раз он при мне сказал: „Теперь бы я не написал книгу „Столп и утверждение Истины" — она меня не вполне удовлетворяет". А между тем, эта книга сыграла колоссальную роль в тогдашнем обществе. Вся сознательная интеллигенция зачитывалась ею и полагала, что нашла все ответы на свои духовные запросы.

Мне хочется обрисовать и его внешний облик. Павел Александрович был довольно высокого роста, худощавый. Особенно привлекательна была в нем форма его головы, — несколько уменьшенная по отношению ко всей фигуре. Он держал ее склоненной к правому плечу и глаза его были всегда опущены вниз. Он был сильно близорук и носил очки. В плечах он был несколько сутуловат. Дома он всегда ходил в холщевых белых подрясниках, с широким темным поясом, на котором были вышиты слова молитвы. На груди он носил большой иерейский серебряный крест. Его облик запечатлен в двух портретах — в работе М. В. Нестерова, где он изображен с С. Н. Булгаковым („Мыслители") и в другом портрете художницы Н.Ефимовой.

Когда мы переехали всей семьей в 1917 году в Сергиев посад, тот тут началась тяжелая материальная жизнь для всех, так что мы только изредка бывали у Флоренских, а

иногда Павел Александрович сам приходил к нам. Мы угощали его чем могли. Однажды и Анна Михайловна была с ним у нас. Помню, мы откуда-то достали мед и эту большую банку поставили на стол. Когда папа умирал в 1919 году, Флоренский приходил к нам и принимал горячее участие в похоронах, а затем он стал все реже и реже бывать у нас. А когда сестра Аля приехала к нам к весне 1919 года, то она стала чаще бывать у Павла Александровича Флоренского, помогая ему в его работе (она писала под его диктовку его статью об обратной перспективе в живописи). Сестра пришла в восторг, рассказывая об этой замечательной статье. Флоренский где-то упоминает об этом случае и благодарит сестру Алю (Александру Михайловну Бутягину) за помощь. В настоящее время, в 1969 году эта статья, напечатанная в городе Тарту, в журнале „Ученые Записки Тартуского ун-та. Вып. 198, 1967 г.“ обратила на себя внимание ученого мира.

Мне было очень горько и обидно, что я не умею печатать под диктовку Павла Александровича и я втайне завидовала сестре, горько размышляя о том, что на мою долю остается только домашняя тяжелая, грязная работа и страшная нужда. От Флоренского я все дальше и дальше отходила. В 1920 году умерла моя сестра Аля, Павел Александрович ее отпевал.

* * *

Приехав из Сергиева посада домой в 1916 году, я побыла дома весной, а летом мы всей семьей уехали на дачу. Саму эту дачу я совсем не помню. Только вспоминается, что дважды бывал у нас Репин в гостях.

Первый раз, помню, как Репин сидел за чайным столом и слушал внимательно рассказ сестры Али, приехавшей из деревни, о тяжелой доле крестьянской женщины; другой раз вспоминаю, что отец и я провожали Илью Ефимовича с дачи, отец просит меня прочесть стихи Пушкина „Когда для смертного умолкнет шумный день...“ Я читаю наизусть, краснея и волнуясь.

В то лето, отец, сестра Аля и я изредка ездили к Репиным на их дачу „П е н а т ы“. Вспоминается жена Репина. Высокая, стройная женщина, но с каким-то удивительно бесцветным лицом, вся какая-то белесая, она ни о чем не могла говорить, кроме как об овсе, но, к счастью, на стол овес никогда не подавался. Обедали на закрытой веранде, гостей

бывало человек до тридцати, обед был вкусный, обильный, но без мяса.

Сам Репин держался очень просто, демократично и сердечно. Нас он водил по аллеям своего сада, показывал и сапожную мастерскую, где он тоже тачал сапоги, наподобие графа Л. Н. Толстого.

Бывали мы и в его мастерской, но там я ничего не запомнила.

Сохранилась фотография, где снят Репин в своей мастерской среди гостей. В числе их сидят папа, мама и сестра Аля (мама однажды тоже была в гостях у Репиных). Эта фотография находится в Государственном литературном музее в Москве.

ГЛАВА IV

РЕВОЛЮЦИЯ.
ПЕРЕЕЗД В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВ ПОСАД

Тоскливо протекала жизнь в семье в этот 1916 год: Варя и Надя еще учились в гимназии (Надя — в Стоюнинской, Варя — в гимназии Оболенской), Вася был на фронте, папа много писал в газетах, но статьи плохо шли. Газета под влиянием событий на фронте, левела, а отец был не к месту. Между прочим, статьи тех лет были интересные, с ними я познакомилась только в 1969 году, и они меня очень заинтересовали.

Отец стал болеть, дома было очень мрачно, сестра Аля жила отдельно. С продовольствием становилось все хуже; с фронта приходили печальные вести — мы то наступали, то отступали. Помню, в 1915 г. мы взяли Перемышль. Помню торжественную манифестацию по этому поводу, огромные толпы народа с флагами, музыку, и себя среди толпы, помню массу пленных австрийцев, которых провозили мимо Петрограда, а я с сестрой тоже ходила смотреть пленных; они были одеты неплохо и видно сами сдались охотно в плен, — наши женщины бросали им цветы...

Но вскоре все изменилось, — Перемышль был вновь отдан австрийцам, и мы все больше и больше отступали. Обстановка становилась мрачнее. В декабре 1916 г. был убит Распутин, шли зловейшие толки об измене императрицы, народ волновался, приближалась революция. Пошел 1917 год, февраль месяц. Произошел переворот. Царская семья была арестована и вместе с царем находилась под стражей. В Петрограде стало трудно доставать хлеб, особенно белый, не хватало сахару, его отпускали в ограниченном количестве, продукты сильно дорожали. Народ обвинял во всем правительство... очереди в магазинах были большие. В то время мы уже жили на Шпа-

лерной улице в доме № 44, кв. 22. Мы могли наблюдать, что происходило, так как на нашей улице впервые затрещали пулеметы — тогда три дня к Петрограду не подвозили хлеба. Пулеметы установили на крышах домов и стреляли вниз по городовым, забирали их тоже на крышах, картечь падала вдоль улицы, кто стрелял — нельзя было разобрать, обвиняли полицейских, искали их на чердаках домов, стаскивали вниз и расправлялись жестоко...

Однажды к нам ворвались в квартиру трое солдат, уверяя что из наших окон стреляют. А когда они ушли, была обнаружена пропажа с письменного стола у отца уникальных золотых часов. Я уговаривала отца не поднимать шума, не заявлять о пропаже, иначе мы все можем пострадать. Сами мы, дети, выбегали на улицу, а сверху стреляли картечью. Не знаю, как из нас никто не был убит или ранен...

Как-то в конце февраля, моему отцу вздумалось вдруг звонить на квартиру Милюкова. Лично он его хотя и знал, но общение между ними было очень отдаленное, деловое и литературное. Мы все были в столовой, где находился телефон. Отец берет трубку и вдруг говорит: „Что же ты, братец Милюков, задумал, с ума что-ли сошел. Это дело курсисток бунтовать, а не твое. Опомнись братец!“ Мы дети хватаем его за тужурку и в испуге оттаскиваем его от телефона. „Папа, что же ты с собой и с нами делаешь, ведь мы все можем погибнуть!“ Тем дело и кончилось.

На Невском проспекте, ближе к Николаевскому вокзалу, где стоял памятник Александру III, было особенно людно... На набережной Невы народ собирался толпами, выступали ораторы. Кто был за кадетскую партию, кто за эсеров, а кто и за большевиков. Дворец Кшесинской занял Совет депутатов. На Выборгской стороне выступала на собраниях, освобожденная из тюрьмы, знаменитая Вера Фигнер, чей портрет многие годы стоял на письменном столе моей старшей сестры Али. Вера Фигнер была уже старуха, с седыми волосами, но представительная, одетая в прекрасный костюм и в дорогих лаковых туфлях. Я была на этом собрании. Она выступала с трибуны, но я с удивлением видела, что рабочие женщины не хотели ее слушать и выражались о ней с презрением. Роль ее была сыграна, и она больше не выступала.

Так продолжалось в течение всей весны; помню была с сестрой Алей на каком-то собрании, где председательствовал Керенский и набирался из женщин „батальон смерти“; дамы

забрасывали Керенского цветами; но он выглядел смешно, а его приказ № 1 привел к полной дезорганизации армии. Солдаты убегали с фронта и из-под полы торговали, кто махоркой, кто буханками черного хлеба. Вернулся и брат Вася с фронта и жил без дела; в Тенешевское училище он не пошел.

К Петрограду подступали немцы... Летом 1917 года сестра Надя уехала к своей подруге Лиде Хохловой в их имение, а Варя с гимназией Оболенской — работать на огородах в деревне. Я же решилась ехать в деревню устраивать ясли от Бестужевских курсов, где я еще числилась слушательницей. Меня очень интересовала деревня, я помнила деревню только по „Казакам", куда меня возили родители пятилетней девочкой к бабушке. И вот мы — студенты Бестужевских курсов — в Рязанской губернии. Помню, как мы невзначай попали в имение генерала Раевского, крестьянки там пололи клубнику, нас с опаской угощали в столовой. Впервые в жизни я была в таком богатом имении, видела красивую усадьбу, от которой вниз шла широкая деревянная лестница к реке. Хозяева нас спрашивали, что мы собираемся делать в деревне. Мы храбро отвечали — помогать крестьянам устраивать детские ясли. Они покачивали головами, но видели, что мы народ не опасный; накормили нас хорошим обедом и отпустили.

Возница наш, который вез нас до места назначения, говорил: есть тут имение графа Олсуфьева в Тульской губернии, там интересный музей; но усадьба заперта, управляющий никого не пускает туда, а сами хозяева в отъезде. Тут я услышала фамилию эту впервые — одно лицо, принадлежащее к ней, сыграли впоследствии огромную положительную роль в моей жизни.

* * *

С устройством яслей ничего не вышло, — мужики не доверяли нам детей и вовсе не хотели ясель. На нас смотрели с недоверием, как на городских барышень, даже продуктов нам не давали за наши же деньги. Меня обыкновенно посылали за молоком — в яслях было трое малышей и на них и на нас нужно было доставать молоко. Я с народом лучше ладила и мне давали молоко и пшено.

Когда в конце августа 1917 года я вернулась из Рязанской губернии и приехала Варя с Надей, было на семейном совете решено уезжать из Петрограда. Редакция „Нового времени" закрывалась в Петрограде и эвакуировалась вместе с Государ-

ственным банком в Нижний Новгород. В Государственный банк на хранение отец отдал золотые древние монеты из своей коллекции, а три самых любимых завернул в бумажку, положил в кошелек и постоянно ими любовался. Было послано письмо Флоренскому с просьбой подыскать нам квартиру, и когда мы получили известие, что квартира найдена, мы спешно стали собираться в Троице-Сергиев посад. Ликвидировав квартиру, мы поехали прощаться Зинаидой Ивановной Барсуковой и Высоцким*, а также с Ивановыми — им я подарила свой зеркальный платяной шкаф и письменный дамский столик, а также чудную книжечку: „Рассказы странника об Иисусовой молитве". Папа с мамой были убиты горем, мы же, дети, ничего не понимали, радовались перемене жизни и уехали очень беззаботно, сестры только жалели гимназию, а мне было жаль только сестру Алю, которая не решилась ехать с нами и осталась в Петрограде вместе со своей подругой Натальей Аркадьевной Вальман. Я радовалась еще очень, что мы едем в Троице-Сергиев посад и будем ходить в Лавру и к Флоренским.

Осенью мы переехали в Сергиев посад на Красюковку, на Полевую улицу в дом священника Беляева, который у него арендовали.

В течение всей осени 1917 года мой отец ездил из Троице-Сергиева посада в Москву к своим друзьям: к Сергею Булгакову, Бердяеву, Гершензону. Ездил также слушать лекции Флоренского, которые тот читал в Религиозно-философском обществе. Бывал и у писателя Русова. Оставался иной раз ночевать у него. Бывала я с отцом и у профессора-искусствоведа А. А. Сидорова. Посещал отец и Лемана, Георгия Адольфовича, жившего на Полуэктовом переулке в доме № 6. Это был друг отца, почитаемый им, талантливый и идейный книгоиздатель. Помню я его красивым, элегантно одетым, молодым человеком, среди роскошной обстановки, с большими культурными запросами, с надеждой творчески работать на литературном поприще. В то время он еще был богатым человеком — его мать была урожденная Абрикосова. Обстановка у них была очень красивая. Вся мебель черного,

---

* Барсукова З. И. со своим другом Высоцким, чиновником при каком-то министерстве, довольно часто бывали у нас и мы также бывали у них. Посещала нас тогда и молодая чета Тиграновых. Он увлекался тогда Вагнером и выпустил о нем интересную книгу.

резного дерева, масса громадных, зеркальных шкафов с книгами и огромным письменным столом, стоявшим боком у окна. Эту обстановку видела и я, когда однажды с отцом была у них. К нам навстречу вышла среднего роста красивая пожилая дама, седая. Это была мать Лемана, урожденная Абрикосова. Затем вышла и жена его, стройная, высокая дама, с чрезвычайно бледным лицом. Весь ее облик напоминал Боттичеллевские рисунки. У них был сын, имени его я не помню, а дочь звали Верой. Молодой человек этот погиб во время второй империалистической войны, а дочь вышла замуж. В 1938 году они жили на даче в Загорске, уже совсем обедневшие; тогда я с ними изредка встречалась, бывала у них и моя сестра Варя; она любила читать жене Лемана, Анне Ивановне, свои стихи и советовалась с ней о них.

Еще в самом начале революции, примерно в 1919—1920 гг., вскоре после смерти моего отца, Георгий Адольфович был арестован и сослан, кажется на десять лет. Затем он вернулся, но его не прописывали в Москве у жены, и поэтому ему приходилось скитаться. Слышала я, что он преподавал немецкий язык в каком-то московском учебном заведении, а также занимался литературной работой. Вначале второй мировой войны я видела его на маленькой даче, у станции Сокол, в уютной комнате, обложенного книгами. Он работал тогда над Тургеневым для сборника „Звенья“ или же для „Литературного наследства“ — не помню. Потом я узнала, что он был арестован вторично, и я потеряла его из виду. Встретила я его необычно: после своей ссылки еду я на эскалаторе и вдруг вижу его идущим навстречу мне. Я искренне обрадовалась ему, значит он на свободе. Встречались мы с ним и позднее, в Московской Духовной Академии, на приглашенном обеде, где мы сидели за столом с ним рядом и беседовали. Он производил впечатление уже очень старого и больного человека, убитого горем. Говорил, что живет уже не со своей семьей, а где-то за городом, по-видимому из-за прописки. Затем я узнала о его трагической смерти в 1968 году. Оказывается, он куда-то ехал, у него закружилась голова, он упал с платформы, сильно разбился и попал в больницу. Там, бедный, долго и мучительно болел и там же скончался. О смерти его я узнала значительно позже. Боже, какая судьба!..

Дом, в котором мы жили в Сергиевом посаде, был большой, низ каменный, верх — деревянный. Внизу помещалась большая комната — столовая, сырая, с зелеными пятнами по

углам. К ней примыкала кухонька, в которой стояла длинная плита, на которой мама со старушкой нищенкой готовила обед для всей нашей семьи. Мама сама ничего не могла делать, у нее была парализована левая рука и частично правая нога, и она с трудом ходила, но все же еще руководила всем домом. А что готовилось на этой плите? В большой эмалированной кастрюле варились пустые щи, в них была свежая капуста, немного картошки, мука, морковь и больше ничего. На второе же была каша из зерен пшеницы, без всякого масла, или пшенная; хлеба почти никакого не было; бывало, что фунт хлеба делили на пять человек, а то больше ели лепешки из дуранды, или из свеклы, очень редко из овсяной муки, это считали уже очень вкусно. Изредка доставали где-то конину и тогда варили с ней щи, но она была такая сладкая, что с трудом ели. Да через день брали три кринки хорошего густого топленого молока у соседей — трех старушек. Все же голод был ужасный, но тяжелее всего было матери и отцу, так как они были старые и отсутствие масла сказывалось больше всего на них. Они оба очень похудели и стали какими-то маленькими и совсем слабенькими. Особенно помнится мне моя мама, ее печальные глаза, как-то они словно застыли в испуге и немом горе. Помню всю ее худенькую фигурку, маленькие слабые руки, маленькие ножки. Вся она передо мной стоит, как живая, с немым укором, а ведь прошло с ее кончины ровно 46 лет...

Нас в семье сначала было шесть человек — папа, мама, я, Варя, Вася и Надя. Сестра Аля, как я уже сказала, оставалась в Петрограде, а Вера жила послушницей в Покровском монастыре.

Голод все увеличивался. Дров почти невозможно было достать, а дом был большой, наверху было пять комнат, одна большая, в которой был папин кабинет и впоследствии размещалась его библиотека, в других комнатах были наши спальни. Печи были большие, хорошие, голландские, требующие хороших дров. Керосин тоже стал исчезать, сидели с коптилками и по вечерам, захлебываясь, читали.

* * *

Стали носиться слухи, что немцы подходят к Петрограду. А у нас вся библиотека отца и рукописи его были оставлены на хранение в Александро-Невской Лавре, у профессора Ака-

демии Зорина. Александровы дали нам взаймы 200 рублей, чтобы я ехала и перевезла оставшееся имущество в Троице-Сергиев посад. Помню, как Евдокия Тарасовна Александрова научила меня как перевезти такое количество вещей. Она сказала, что нужно дать три рубля весовщику товарной станции и он даст целый вагон. Я так и сделала. Это была во всю мою жизнь единственная взятка, которую я сумела дать. Были перевезены папины полки с книгами и рукописи его. Часть вещей, которые находились у Зорина, не были нам возвращены, в частности, китайская и турецкая вазы, большой гипсовый слепок с работы Шервуда — Пушкин, гипсовый слепок с головы Страхова и еще кое-какие вещи. Но все же мы были очень рады, что вернулись самые дорогие нам вещи.

Вскоре после возвращения моего из Петрограда произошла Октябрьская революция. Власть перешла в руки Советов. В Троицком посаде переход к новой власти не вызвал резких эксцессов — все произошло сравнительно спокойно. В Лавре еще шла церковная служба (до 1920 года в Троицком соборе).

Помню, в 1918 году, весной, патриарх Тихон приезжал в Троице-Сергиев посад. Мы с отцом идем навстречу ему по зеленому лугу около Киновии. С нами рядом шли три молодых человека — Сережа Сидоров, Сережа Фудель и Коля Чернышев, прекрасные молодые люди, цвет настоящей духовной интеллигенции. Навстречу нам движется патриарх Тихон с крестом, окруженный духовенством, в ярких блестящих ризах, красиво вырисовывающихся на зеленом фоне луга. Вся эта процессия медленно направляется в Троице-Сергиеву Лавру. Боже, как я это живо помню, а ведь сколько лет прошло!

В настоящее время Сережи Сидорова давно уже нет в живых, а двое других еще продолжают свой жизненный путь.

В 1918 году был опубликован декрет об учете и охране памятников искусства и старины. Отец мне сказал, что в Троице-Сергиевом посаде организуется комиссия по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, при ней будет канцелярия, им нужна машинистка, и Павел Александрович Флоренский хочет меня туда устроить. Мне сказали, что я должна пойти на Валовую улицу в дом графа Олсуфьева. В доме этом, в нижнем этаже жил мой будущий начальник, Сергей Павлович Мансуров.

Я пошла, робко постучалась в дверь и с замиранием сердца ждала... Я ведь никогда не видела в глаза канцелярии и не

представляла себе даже, что это такое. На мой стук мне открыла высокая, очень красивая, белокурая, стройная женщина и весьма приветливо позвала меня войти внутрь. Это была жена Сергея Павловича Мансурова, Мария Федоровна Мансурова, урожденная Самарина, из старинного дворянского рода славянофилов.

Желая меня ободрить и как-то успокоить, она ласково предложила мне тарелку грибного супа. Я была этим очень тронута. Оглянулась на комнату и впервые увидела, какая она. Это была довольно большая комната с двумя окнами, заставленная высокими полками с маленькими книжечками в бумажных переплетах. Это были разные издания о старцах на Руси. Эти книги были большая редкость, они собирались, видимо, с большой любовью в течение долгих лет. Потом Сергей Павлович давал мне эти книги читать — они были мне очень интересны. Сергей Павлович Мансуров должен был быть секретарем комиссии и моим начальником. Я взглянула на него и увидела красивого, молодого, высокого человека с удивительно лучистыми, добрыми, карими глазами и мягкой улыбкой. Особенно хороши были его руки, с красивыми, изящно-удлиненными пальцами — таких рук я потом в жизни никогда ни у кого не видела.

Началось учение. Он терпеливо объяснял мне, как вести журнал входящих и исходящих бумаг, я страшно старалась, пыхтела, краснела, конфузилась, и смущенно думала — наверно, он такого бестолкового человека и не видывал. Потом он мне показал пишущую машинку „Ундервуд", которую он привез из Москвы специально для меня, и начал меня учить писать на машинке. Так несколько дней я ходила к нему и училась. Затем, спустя некоторое время, машинка была отправлена в митрополичьи покои, там была открыта канцелярия; меня, маленькую, посадили на книги, которые положили на пуф, и я важно восседала в митрополичьих покоях. Прислуживал нам старенький монах, отец Амвросий, лицом вылитый Серафим Саворский, — даже было немного жутко, какой-то все был сон невероятный!

В эту комиссию вошли: председатель комиссии Бондаренко, приезжавший из Москвы, и его заместитель граф Юрий Александрович Олсуфьев.

В первый раз я увидела не самого графа Юрия Александровича, а его жену, Софью Владимировну. Это было в 1918 году. Она стояла в полуоборот на фоне белого каменного

здания, выходящего одной стороной на площадь, а другой на Вифанскую улицу (ныне Комсомольская). Тут был магазин молочных продуктов. Масло привозили откуда-то издалека, вологодское. Торговала им бывшая помещица — Гиппиус. На улице толпился приезжий народ. Это были беженцы из всех городов России, представители высшей интеллигенции и аристократии. Был вечер, они жалобно жались к стене, а среди них выделялась высокая худощавая фигура графини Олсуфьевой в небольшой шапочке из дорогих белых перьев с какими-то черными кончиками. Эта шляпа ей очень шла; глаза ее было очень похожи на глаза оленя или породистой лошади, но они смотрели печально. Я не знала кто это и спросила; мне ответили, что это графиня Олсуфьева. Такова была моя первая встреча с Софьей Владимировной.

Теперь постараюсь дать портрет Юрия Александровича Олсуфьева. Он был гораздо ниже ростом своей жены, широкоплечий, с довольно большой головой, с небольшой лысиной. Волосы были каштановые, прямые, лоб большой, умный, глаза карие, несколько выпуклые, миндалевидной формы, густые брови, небольшие бакенбарды и борода. Руки у него были полные, выразительные, с крепкими выпуклыми ногтями. На левой руке он носил красивый, очень богатый перстень с крупным изумрудом. Вся же одежда была очень простая — толстовка из сурового материала, поверх нее синяя тужурка и шаровары из того же материала со штрипками. На ногах у него были мягкие, черные, высокие сапоги. Походка у него была твердая, он шагал широко и уверенно.

Мы недолго находились в митрополичьих покоях — нас перевели в здание, находившееся вблизи левых Святых ворот — там была у нас канцелярия, а рядом была канцелярия комиссара Волкова. Я к тому времени уже хорошо научилась писать на машинке. Писала я всякие бумаги, удостоверения, отношения в исполком, в Москву, командировочные удостоверения сотрудникам, так как только по ним можно было поехать в Москву, а также переписывала инвентарные описи и отдельные статьи Юрия Александровича Олсуфьéва, которые впоследствии вошли в его книги. Павла Александровича Флоренского я не могла писать под диктовку, а сам он писал так, что ни один человек не мог его прочесть, потому что он знал такое количество языков, что в процессе своей творческой работы он перепутывал буквы всех языков. Поэтому для него взяли другую машинистку — Веру Александровну Веденскую,

очень грамотную и толковую, которая и писала его под диктовку. Комиссар и хозяйственники косились на то, что во время работы пишутся непонятные, научные труды, и меня часто в этом упрекали.

Не помню в какой период времени наша канцелярия и научная часть нашей комиссии была переведена в бывшие покои наместника Лавры. Мы заняли довольно большую комнату, у нас было уже довольно значительное количество сотрудников — пришел к нам работать Алексей Николаевич Свирин, был приглашен Владимир Иванович Соколов, художник, для писания плакатов, затем художник Боскин, для инвентаризации ценностей. Владимир Иванович, хороший художник, очень тяготился этой работой и делал ее очень неохотно и в конце концов отказался от нее. Художник же Боскин тоже не мог выполнять такую работу и тоже ушел от нас. При музее организовалась мастерская по реставрации древнего шитья, в нее входили две опытные мастерицы и ученый реставратор — Татьяна Николаевна Александрова-Дольник, приезжавшая из Москвы. Был у нас и бухгалтер, молодой человек, был и хозяйственник, а должность комиссара была упразднена. Председатель Бондаренко был к тому времени снят с работы, а его должность занял Юрий Александрович Олсуфьев. Ученым секретарем комиссии был назначен Павел Александрович Флоренский. Оба они очень много вложили труда и работы в это дело. Юрий Александрович и Павел Александрович произвели инвентаризацию всех ценностей ризницы, фондов, с полным научным описанием музейных предметов, так что в настоящее время многие научные работники удивляются тому, как двое ученых смогли сделать такую огромную работу. Раньше, в ризнице монастыря, предметы были записаны только под номером, без научных описаний и без их точного определения.

Обыкновенно Юрий Александрович и Павел Александрович брали из ризницы или из фондов музея церковные предметы или книги, делали описи и определяли время их создания. Всю эту работу они производили в комнате рядом с нашей канцелярией. Я часто заходила в ту комнату и видела их работу. В комнате у них было очень холодно. Я удивлялась их терпению и выносливости, но они, погруженные в работу, ничего не замечали. Сделав на нескольких страницах опись, Юрий Александрович сдавал их мне перепечатать. Сколько

через мои руки прошло его работ! Но я была еще молода и не понимала всей ценности его трудов.

В настоящее время там, где находилась канцелярия и комната научных сотрудников, теперь помещается библиотека Загорского историко-художественного музея, а рядом кабинет директора музея и маленькая канцелярия.

Таков был Юрий Александрович на работе — всегда подтянутый, аккуратный, исполнительный, молчаливый, погруженный всецело в свои занятия. На собраниях он редко бывал. Таким же молчаливым, серьезным он был дома. Также много работал по вечерам над своими научными трудами. Я часто по вечерам у них бывала, заходила, главным образом, к Софье Владимировне. Бывало, сижу у нее в комнате, а Юрий Александрович уже зовет ее: „Соня, Соня, поди сюда!“ Без Софьи Владимировны он не мог быть ни минуты, всегда ему надо было чувствовать ее присутствие. Иногда я у них оставалась пить чай на веранде, застекленной. С нами садилась пить чай его племянница, Екатерина Павловна Васильчакова, и их домашняя работница Саша (сиротка, бывшая воспитанница их приюта), которая им была очень предана и очень любила их. Юрий Александрович любил со мной разговаривать и подшучивать, но вообще был строгий и молчаливый, и особенно не любил гостей, да, правда, к ним редко кто и приходил. Однажды, смотрю, вдруг Юрий Александрович выскочил из-за стола и куда-то убежал. Я очень смутилась и ничего не поняла, а Софья Владимировна мне объяснила: „Он пошел и спрятался на чердак, — это потому, что пришла в гости мадам Хвостова, которую он недолюбливал, да и вообще он не выходил к гостям“.

Совсем другим человеком был его родственник Сергей Павлович Мансуров. В первую мировую войну они вместе работали в Земском союзе. Лето перед февральской революцией они вместе жили на юге, кажется, в Мцхете. Осенью 1917 года они купили дом в Троице-Сергиевом посаде, на Валовой улице и поселились вместе. Юрий Александрович с Софьей Владимировной, с племянницей и с воспитанницей Сашей поселились в верхнем этаже, а в нижнем этаже жил Сергей Павлович Мансуров со своей женой Марией Федоровной.

Сергей Павлович был совершенно иного характера, чем Юрий Александрович. Это был общительный, приветливый и очень мягкий человек. Он всегда старался всем помочь и

как-то всех обласкать. Я очень сердцем к нему привязалась на всю жизнь. Видела в нем все совершенства, кроме одного — я никак не могла понять, как это он так опаздывает на работу и всегда очень беспокоилась за него. Но он приходил невозмутимо на работу, предварительно зайдет в Троицкий собор, приложившись ко всем иконам, и только затем появлялся в канцелярии, почему-то всегда, неизменно, с большим мешком за плечами, так как с работы он шел за продуктами. Начинался рабочий день. Я печатала на машинке, он разбирал бумаги. Иногда он уходил куда-то работать, разбирать на чердаке редкие рукописи Троице-Сергиевой Лавры. По ним он делал большую работу — описание этих рукописей, — и потом он написал большую статью об этих рукописях, которая должна была быть помещена в сборнике, посвященном Троице-Сергиевой Лавре. В этот сборник должны были войти также и статьи Флоренского, Олсуфьева и М. В. Шика. Этот сборник был сброшюрован, но не вышел — он был запрещен. В настоящее время этот сборник имеется в небольшом количестве в главных библиотеках Москвы и является уникальной ценностью. В этой своей статье Сергей Павлович проводил мысль о том, что в древние времена русский читатель был вдумчивее, и в то время, как в XV веке чаще читали Исаака Сирина, Ефрема Сирина, Шестоднев Василия Великого, то уже в XVII веке чтение становилось более легким. Стали читать Прологи, Жития святых. В настоящее время эти древние рукописи и книги XIII—XVIII веков перевезены в Ленинскую библиотеку.

* * *

В канцелярии нам прибавили сотрудников: взяли машинистку Осовскую, сменили молодого бухгалтера на пожилого, более солидного, некоего Мордвинова. В это же время, когда я там работала в комиссии по охране памятников Лавры, по утрам часто мы ходили с Софьей Владимировной в скит, который был тогда еще не закрыт, там шла прекрасная монастырская служба, храм был красивый, с чудесным иконостасом деревянной резьбы и старинными иконами. Этот храм прилегал к бывшим покоям митрополита Филарета, который здесь имел обыкновение отдыхать летом. Теперь этот храм разрушен, а предметы церковного обихода вывезены, кажется, в музей Троице-Сергиевой Лавры.

С нами часто по воскресеньям ходил и Сергей Павлович Мансуров с женою. Это были чудесные дни — прекрасная дорога, красивые виды по сторонам и интересные беседы Сергея Павловича. Ходила я и в Параклит — это десять верст от нашего города. Леса стояли изумительные, хвойные в перемешку с березовыми. Эта самая дорога, по которой хаживал некогда художник Михаил Васильевич Нестеров. Пейзажи на его картинах — повторение этих видов. Однажды, возвращаясь из Параклита, я встретила его, уже стариком, с мольбертом в руках и с эскизами. Он шел, углубленно задумавшись, и я его не остановила, а он, скорее всего, меня даже и не заметил. Так в течение многих лет мы ходили в скит, до тех пор, пока он не был закрыт. Лавра же была закрыта в 1920 году. Сергея Павловича в это время уже не было в музее, он принял сан священника и служил в Оносинском монастыре. При монастыре он жил вместе со своей женой.

Вскоре богадельня Красного Креста была закрыта, в этом учреждении была организована первая городская амбулатория, обслуживающая весь город Загорск. Куда направили старушек из Красного Креста — сестер милосердия первой мировой войны, — не знаю. Церковь была закрыта, и Павел Александрович Флоренский, не сняв рясу, стал работать в Москве в ВСНХ по научной части. Но ему все же пришлось расстаться с рясой, и он ходил в каком-то нелепом тулупе и какой-то шапке-ушанке. В таком костюме я видела его однажды у него дома и ужаснулась, — так не шла ему эта одежда. Он тоже казался смущенным. Я у них тогда очень редко бывала.

Работал Павел Александрович в ВСНХ очень успешно. Затем, 24 февраля 1933 года, когда он приехал в воскресенье отдохнуть домой в Загорск, он был ночью арестован, был произведен обыск и незаконно увезена почти вся библиотека. Никакого обвинения ему не было предъявлено и он не знал, за что его взяли. У него осталась жена, теща и пятеро детей. Его долго держали на Лубянке, а затем выслали, переводили с места на место, и в конце концов он оказался в Соловках в заключении. Были слухи, что его привозили несколько раз в Москву, хотели что-то узнать, но ничего не допытались и отправили обратно в Соловки. Там он умер 15 декабря 1943 года. Такую справку дали официально жене. Когда она спросила, за что его арестовали, посланный сказал: „За то, что он доказал, что Бог есть“. Интересно мне рассказывал о Флорен-

ском один знакомый. С Флоренским вместе сидел в тюрьме одно время доктор Печкин, который рассказывал, как тюремные власти подозревали, что Флоренский сошел с ума, потому что утверждал, что бесы существуют реально. Он был священник, что другое мог он говорить... Ведь в Евангелии об этом ясно говорится.

Флоренский был реабилитирован уже посмертно, в 1956 году.

* * *

Я ходила на работу каждый день с 9-ти до 4-х часов. Дома оставалась младшая сестра Надя; сестры Варя и Надя и брат Вася не могли никуда устроиться на работу, потому что работа была только в исполкоме и на почте, а также были кустарные работы, которых мы не знали и нас бы никто не взял. Варя и Надя еще не кончили гимназии в то время. Старшая сестра Аля вызвала их в Петроград, надеясь, что они там окончат гимназию. Они действительно окончили ее в 1918 году при страшном голоде. Брат Вася уехал спасаться от голода на Украину к маминому брату, дяде Тише Рудневу, который был прокурором 6-й палаты города Полтавы.

В 1918 году сестры вернулись из Петрограда, окончив гимназию, а до этого мы оставались втроем — папа, мама и я. Брат Вася, вернувшись с Украины, звал нас туда, но мы не решились ехать. Жили продажей вещей, мебели, книг, изредка кто-нибудь присылал продукты. Мы сменяли большой буфет орехового дерева на шесть пудов ржи, а дубовый стол — на картошку. Посуду всю меняли на яблоки, то на молоко. Коекакую одежду, более нарядную тоже меняли на продукты в деревню. Был такой старичок, который этим занимался, очень хозяйственный, красивый, он хорошо к нам относился и с риском для себя привозил нам продукты, ведь везде стояли заградительные отряды и менять тоже не очень-то давали.

Однажды зимою, когда мы уже совершенно замерзали, нам неизвестный железнодорожник, Новиков, прислал целый воз березовых дров и спас нам жизнь. Этот случай не забудется никогда... *

---

* Фамилию Новикова Дмитрия Трофимовича я установила случайно, познакомившись с его родственницей: они были из тех мест, где когда-то была школа Рачинского.

Капусту, я помню, нам выдавали из каких-то организаций, мы стояли за ней в очереди; несколько раз Варя ездила за мукой в деревню, дважды в один день попала в крушение поезда, но спаслась, отделавшись только испугом. Брат Вася уговаривал Варю ехать на Украину вторично. Они остановились в Курске у знакомого отца, некоего Лутохина. Вася заболел испанкой, его отправили в больницу и через три дня он там скончался. Это было 9 октября 1918 года, там же на городском кладбище его и похоронили. Об этом сообщил нам Лутохин, так как сестра Варя, не дождавшись исхода болезни Васи, вынуждена была спешно уехать из Курска — граница закрывалась и на Украине устанавливалась новая власть. Варя долго не знала о смерти брата, и мы ничего о ней не знали, не знали даже, жива ли она? Потом, когда наладилась переписка, сестра Варя очень огорчилась смертью брата, но написала нам, по своему обыкновению, оптимистическое письмо. В начале письма она описывает его заболевание и как она его устраивала в больницу и как ей необходимо было уезжать, так как ей в Курске жить было негде и денег на прожитие не было.

Вот это письмо (подлинник находится в Государственном литературном музее). Собственно, конец письма, столь для нее характерный: „Мне нельзя было падать духом. Я понимала, что в тот момент умирали не единицы, а тысячи. Кто от испанки, кто на фронте. Вообще падать духом никогда нельзя. И что бы ни случилось в дальнейшем, надо стойко выносить все. Жизнь меня очень закалила, и ко всяким фанабериям и „мистике“ (это камешек в огород старших сестер) я отношусь крайне отрицательно...“

Вестей от Вари опять долго не было. На Украине власть переходила из рук в руки. Мы остались вчетвером: отец, мать, Надя и я. С Надей мы жили очень дружно и хорошо. Часто ходили в церковь и Гефсиманский скит (в трех верстах от Сергиева посада). Отец очень подружился с Олсуфьевым, бывал у них. Он был потрясен смертью сына; Лутохин прислал ему злое письмо, обвиняя отца в смерти сына, рассматривая потерю сына, как следствие наказания Божьего за сочинения отца. Отец тоже винил себя в смерти Васи, считая себя виноватым в том, что отпустил его легко одетым, почти без денег, и что раньше легко отпустил Васю на фронт. Вася не кончил Тенешевское училище и привык уже к кочевой жизни.

Отец страшно изменился после его смерти и единственным его утешением было — дружба с П. А. Флоренским и Олсуфьевым.

Два факта — смерть сына и потеря самых любимых монет, с которыми он никогда в жизни не расставался, вечно любуясь на них, сильно на него подействовали. Потерял он эти золотые монеты, когда ездил в Москву и на вокзале заснул; предполагали, что у него вытащили их из кармана, а возможно он их и потерял.

ГЛАВА V

БОЛЕЗНЬ ОТЦА. ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА К ДРУЗЬЯМ. СМЕРТЬ.

Папа был очень слаб, но видя, как мы надрываемся, качал воду в колодце, изредка помогал нам. Делать этого ему нельзя было.

Отец очень любил также париться в бане, что ему тоже запрещали врачи, но он врачей вообще не слушался, запрещали ему курить, а он все курил. Однажды он пошел в баню, а на обратном пути с ним случился удар, — он упал в канаву, недалеко от нашего дома и его уже кто-то на дороге опознал и принесли домой. С тех пор он уже не вставал с постели, лежал в своей спальне, укутанный одеялами и поверх своей меховой шубы — он сильно все время мерз. Говорить почти не мог, лежал тихо, иногда курил.

В то время старушки, которая готовила обед, уже не было, варила обед Надя и ухаживала за папой, а также мама много помогала и дежурила у папиной постели. К отцу звали священника, отца Александра, настоятеля Рождественской церкви, он отца исповедал несколько раз. Затем приходил отец Павел Милославин — второй священник Рождественской церкви, которого отец очень полюбил за то, что он замечательно читал акафист Божией Матери „Утоли моя печали". Отец мой слушал как он читает акафист, когда со мной и Надей ходил служить в 40-й день панихиду по брату Васе. Отец мой плакал в церкви и говорил: „С каким глубоким чувством читает этот священник акафист Божией Матери".

За это время болезни отца его часто навещала Софья Владимировна Олсуфьева и Павел Александрович Флоренский. Приезжал из Москвы старый друг отца по университету, Вознесенский, привозил ему какие-то деньги от Гершензона. Он же присутствовал, когда мы позвали отца Павла Милос-

лавина из Рождественской церкви папу пособоровать, тут же была и С. В. Олсуфьева. Молились все усердно и папе стало лучше; но потом опять сделалось хуже, но он все же так не метался в тоске, как иногда с ним было до соборования.

С папой, как я говорила, была мама неотлучно, а я весь день была на работе, а потом сразу же шла что-нибудь менять на хлеб.

В это время несколько раз присылали нам деньги — отец протоирей Устьинский, папин друг, Мережковские и Горький. К папе приходил частный врач, приходила массажистка, он постепенно стал немного говорить, но двигать рукой и ногой не мог, ужасно замерзал, все говорил: „холодно, холодно, холодно“ и согревался только тогда, когда его покрывали его меховой, тяжелой шубой.

Незадолго до своей смерти он просил сестру Надю под его диктовку написать несколько писем и послать друзьям.

ПИСЬМО К ДРУЗЬЯМ

7 января 1919 г.

Благородного Сашу Бенуа, скромного и прекрасного Пешкова, любимого Ремизова и его Серафиму Павловну, любимого Бориса Садовского, всех литераторов, без исключения; Мережковского и Зину Мережковскую — ни на кого, ни за что не имею дурного, всех только уважаю и чту.

Все огорчения, все споры считаю чепухой и вздором. Ивана Ивановича Введенского благодарю за доброту и внимание. Музе Николаевне Всехсвятской целую ручку за ее доброту, самого Всехсвятского целую за его доброту и за папироски. Каптереву благодарю и целую ручку за ее доброту и внимание. Ну, конечно, графа и графиню Олсуфьевых больше всего благодарю за ласку. Флоренского — за изящество, мужество и поученье, мамочку нашу бесценную за всю жизнь и за ее грацию.

Лемана благодарю за помощь и великодушие, жену его тоже, они оба изящны очень и очень сердечны, и глубоко надеюсь: от Лемана большое возрождение для России.

Гершензона благодарю за заботу обо мне. Очень благодарю Виктора Ховина, люблю и уважаю; Устьинскому милому кланяюсь в ноги и целую ручку. Макаренко сердечно кланяюсь.

Перед сокровищем Васенькой прошу прощения: много виноват в его смерти.

Грациозной Наденьке желаю сохранить ее грацию, великодушной и великой Вере желаю продолжения того же пути монашеской жизни, драгоценной и трепетной Тане желаю сохранить весь образ ее души. Варе желаю сохранить бодрость и крепость духа. Алю целую, обнимаю и прошу прощения за все мои великие прегрешения перед ней. Наташу целую и обнимаю, любимому человеку Шуриному очень желаю добра и счастья, только вместе, и, вообще, разделенья не желаю никому на свете, никому.

Лидочку Хохлову обнимаю, как грациозную девочку. Шернваля вполне понимаю и извиняю вполне, ни на что не сержусь.

Дурылина милого люблю, уважаю и почитаю, и точно также Фуделя, Чернова; Анне Михайловне дорогой целую руку ее, также точно и Надежде Петровне. Ангела, отца Александра, за истинную доброту его благодарю, и всему миру кланяюсь в ноги и почитаю за его великую терпеливость.

7 января, четверг 1919 г.

Написано под диктовку.

Примечания Т. В. Розановой:

Анна Михайловна — Флоренская, жена П. А. Флоренского.

Надежда Петровна — Гиацинтова, теща П. А. Флоренского, умная и гостеприимная старуха, всех радушно принимавшая и умершая в 1940 году в глубокой старости, всеми уважаемая и окруженная многочисленными внуками.

Шернваль — врач, лечивший мою мать последнее время и которого мой отец при жизни недолюбливал.

Всехсвятская и Всехсвятский — муж и жена. Он служил библиотекарем при Духовной Академии много лет. В голодное время они много делали для отца, давали ему папироски, кормили вкусным варением, до которого отец был большой охотник. У них отец отдыхал и душевно, и телесно. В семье было два взрослых сына. После смерти уже моего отца их постигло большое несчастье. После закрытия Духовной Академии, Всехсвятский служил бухгалтером в Электротехнической академии, которая помещалась в тех же стенах Академии и Лавры, и очень тосковал; будучи уже глубоким стариком,

покончил жизнь самоубийством. Дети вышли несчастные, один сын с матерью уехал в Сибирь и там они умерли, другой сын умер в нищете в Сергиевом посаде, все пошло прахом и зажиточная семья распалась и умерла в нищете. Это я узнала случайно от бывших жильцов их дома уже много лет спустя.

Всехсвятский был несомненно под большим влиянием сочинений В. В. Розанова.

Отец Александр — священник, брат А. М. Флоренской. Очень добрый и хороший человек. Был долго в ссылке, вернулся и умер через год в Москве. Сам он был священником в г. Егорьевске, Рязанской губернии.

Ив. Ив. Введенский — хозяйственник Исполкома, купил у нас дубовый буфет за 6 пудов ржи и спас нас от голодной смерти.

К ЛИТЕРАТОРАМ

Напиши всем литераторам.

Напиши, что больше всего чувствую, что холоден мир становится. И что они должны предупредить этот холод, что это должно быть главной их заботой.

Что ничего нет хуже разделения и злобы, и чтобы они все друг другу забыли и перестали бы ссориться. Все литературные ссоры считаю просто чепухой и злым навождением.

Никогда не плачьте, всегда будьте светлы духом. Всегда помните Христа и Бога нашего.

Поклоняйтесь Троице безначальной, и Живоносной, и Изначальной.

Флоренского, Мокринского, Фуделя и потом графа Олсуфьева прошу позаботиться о моей семье.

Также Дурылина и всех, кто меня хорошо помнит.

Прошу Пешкова позаботиться о моей семье.

Примечания Т. В. Розановой:

Мокринский — прекрасный молодой человек, религиозно настроенный, душевно заболел и в припадке душевного расстройства покончил жизнь самоубийством.

Многих из тех, о которых пишет отец, уже нет в живых, и многие кончили свою жизнь в тяжких страданиях.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКОМУ

Милый, милый, Митя, Зина и Дима!
В последней степени склероза мозга, —
Ткань рвется, душа жива, цела, сильна!
Безумное желание кончить Апокалипсис и из „Восточных мотивов“; все — уже готово, сделано, только распределить рисунки из „Восточных мотивов“, но этого никто не может сделать. И рисунки все выбраны.
Лихоимка-судьба свалила Розанова у порога!

— Спасибо дорогим, милым за любовь, за приветливость, сострадание. Жили бы вечными друзьями, но, уже, кажется, поздно. Обнимаю вас всех и крепко целую, с Россией, дорогой, милой! Вы все стоите у порога, и вот бы лететь, и крылья есть, но воздуха под крыльями не оказывается. Спасибо милому Сереже Каблукову за письмо.

* * *

Н. МАКАРЕНКО

20 января 1919 г.

Милый, милый Николай Емельянович, спасибо Вам за дорогое внимание Ваше, которое никогда не забуду и друзей своих всех дорогих, не забуду драгоценный Эрмитаж и работу по нем благородного Бенуа.

Этот Эрмитаж незаслуженная драгоценность для всей России.

Помните ли Вы драгоценный... и драгоценный эстамп с нее. Особенно когда она была младенцем.

Для меня это не забываемо.

Величавую Екатерину и все это величие и славу, когда-то былое в России, но теперь погибшее. Боже, куда девалась наша Россия. Помните Ломоносова, которого гравюры я храню до сих пор. Третьяковского, даже Сумарокова.

Ну, прощай былая Русь, не забывай себя.

Помни о себе.

Если ты была когда-то величава, то помни о себе. Ты всегда была славна. Передайте Мережковскому о всей этой славе, которую он помнит так хорошо. Поклон его Петру и его стрельцам. Это тоже слава России. Поклон его Зине. Поклон его милым Тате и Нате и если можно поцелуй, а знаю, что можно. Если можно было бы, позволили бы силы, можно было

бы и рисунки докончить и это было бы драгоценная работа для них и для меня.

Ну, друзья, устал, изнеможен, больше не могу писать. Сделайте что-нибудь для меня. Я сам умираю, уж ничего больше не могу, прежде всего работать. Хочется очень кончить Египет и жадная жажда докончить, а докончить вряд ли смогу. А работа действительно изумительная. Там есть масса положительных открытий, культ солнца почти окончен. Еще хотел бы писать, мои драгоценные, писать больше всего об Египте, о солнце, много изумительных афоризмов, м.б. еще попишу писульки, не знаю и не берусь за это.

От семьи моей поклон, от моей Вари поклон, от моих детей, тружеников небывалых, поклон, в этом не сомневайтесь, не колеблетесь.

Варя * совершенно с Вами помирилась.

Всему миру поклон, драгоценную благодарность от своей Танечки тоже поклон, она чрезвычайно грациозная, милая, какая-то вся игривая и вообще прелестная, и от Наденьки, которая вся грация, приезжайте посмотреть. А это пишу я, отец, которому естественно стыдно писать. Ну, миру поклон, глубокое завещание, никаких страданий и никому никакого огорчения.

Вот кажется и все.

Васька дурак Розанов.

Детки мои собираются сейчас дать мне картофель, огурчиков, сахарина, которого до безумия люблю. Называют они меня „куколкой“, „солнышком“, незабвенно нежно, так нежно, что и выразить нельзя, так голубят меня. И вообще пишут: „Так, так, так“, а что „Так“ — разбирайтесь сами.

Сам же я себя называю „хрюнда, хрюнда, хрюнда“, жена нежна до последней степени, невыразимо и вообще я весь счастлив, со мной происходят действительно чудеса, а что за чудеса расскажу потом когда-нибудь.

Все тело ужасно болит.

* * *

ЛИДОЧКЕ ХОХЛОВОЙ

Милая, дорогая Лидочка, с каким невыразимым счастьем я скушал сейчас последний кусочек чудесного белого хлеба с

---

* „Варя“ — В. Д. Бутягина

маслом, присланный Вами из Москвы с Надей. Спасибо вам и милой сестрице Вашей. И хочу, чтобы где будет сказано о Розанове последних дней не было забыто и об этом кусочке хлеба и об этом кусочке масла.

Спасибо, милая. И родителям Вашим спасибо. Спасибо.

Благодарный Вам В. Розанов

Эту записочку сохранить.

* * *

Записочка Лидочке Хохловой, продиктованная Василием Васильевичем Наде в 1919 году в Троице-Сергиевом посаде и посланная Л. Хохловой в Москву.

„От лучинки к лучинке. Надя, опять зажигай лучинку, скорее, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль. Что такое сейчас Розанов? Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся, под таким углом одна к другой, действительно говорят об образе всякого умирающего. Говорят именно фигурно, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не гибко, все высохло. Мозга, очевидно, нет, жалкие тряпки тела. Я думаю, даже для физиолога важно внутреннее ощущение так называемого внутреннего мозгового удара. Вот оно: тело покрывается каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как с мертвой водой. Оно переполняет все существо человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая, убийственная своей мертвечиной. Дрожание и озноб внутренний не поддается ничему описуемому. Ткани тела кажутся опущенными в холодную, лютую воду. И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее, представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому „ад“ или пламя не представляют ничего грозного, а скорее желаемое. Ткани тела, эти метающиеся тряпки и углы представляются не в целом, а в каких-то безумных подробностях, отвратительных и смешных, размоченными в воде адского холода. И, кажется, кроме озноба, ничего в природе даже не существует. Поэтому умирание, по крайней мере от удара, представляет собой зрелище совершенно иное, чем обыкновенно думается. Это — холод, холод и холод, мертвый холод и

больше ничего. Кроме того, все тело представляется каким-то надтреснутым, состоящим из мелких, раздробленных лучинок, где каждая представляется тростью и раздражающей остальные. Все, вообще, представляет изломы, трение и страдание.

Состояние духа его — никакое — потому что и духа нет. Есть только материя — изможденная, похожая на тряпку, наброшенную на какие-то крючки.

До завтра.

Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так измождено, что духовное тоже ничего не приходит на ум. Адская мука — вот она налицо!

В этой мертвой воде; в этой растворенности все ткани тела — в ней. Это черные воды Стикса — воистину узнаю их образ".

В то время, когда отец так тяжело болел, от падчерицы Василия Васильевича — Александры Михайловны Бутягиной — приходили из Петрограда печальные письма; она очень мучилась из-за нас, да и сама была без работы, так как тогда бастовала интеллигенция. Сестра заболела испанкой, боялись за ее жизнь. От сестры Веры тоже приходили печальные письма — монастырь был превращен в трудовую сельскохозяйственную общину, там были трудные полевые работы, в которых сестра не могла принимать участия по состоянию своего здоровья (туберкулез), в общине она очень голодала и была переведена учительницей к детям — сиротам войны в приют, принадлежавший также этой общине. Учительницей ей показалось быть очень трудно, а кроме того, все время грозили распустить общину. Она писала, что может быть вернется к нам жить, а мы сами не знали, как дожить до следующего дня. Сохранилось письмо сестры Веры к Наде в Петроград от 1918 года.

„Петроград, март 1918 г.
Манежный пер., д. 16, кв. 44
Ее Высокородию
Софии Ангеловне Богданович для передачи Надежде Васильевне Розановой.

Христос посреди нас
Дорогая Надя.

Получила твое письмо. Прости, но, наверное, долго не смогу ответить на него.

Сейчас полна заботой и болею за Алю. Она с Наташей совершенно нравственно и физически измучена борьбой за существование. Получают один фунт хлеба и голодают. Не знаю как им помочь. Сейчас иду в деревню, может быть удастся достать ржаную муку. Сходи к ним обязательно и напиши.

Теперь нет мечты, теперь есть подвиг. Васильевский остров, 4-ая линия, д. 39, кв. 3.

Мы не можем жить как жили. Считаю, что теперь время величайшего отрезвления. Отдача отчета и сознание долга перед Богом и человечеством.

Вера“.

Надя очень дружила с сестрой Верой, которая мечтала перетянуть ее к себе в монастырь. Но Надя инстинктивно чувствовала, что она не создана для монашеской жизни, хотя и очень любила Веру и хотела бы ей помочь. Ко мне же Надя относилась холодно и без интереса, кроме одного года, когда мы с ней дружно жили в Троице-Сергиевом посаде, и после смерти отца ходили почти ежедневно к ранней обедне в Гефсиманский скит и заходили в келью иеромонаха Порфирия, бывшего келейника умершего старца Варнавы. Это было хорошее время!

Вот и другое письмо сестры Али, написанное в начале августа месяца 1918 года в монастырь сестрам Вере и Наде (Надя тогда гостила у Веры в монастыре). Письмо написано из Петрограда.

„Дорогие Верочка и Надюша.

Конец письма: Вере. Ну, спокойной ночи!

Спасибо, Веруся, за все; Наташа тебя крепко, крепко чтит за твою подлинную, редкую доброту. Милые, милые „кусочки“, которые ты мне клала на стол в детстве.

Как они и теперь волнуют теплом и светом усталую душу. Прости меня, Веруся, за все мое непонимание тебя. Теперь бы я все поняла, а тогда слишком по-матерински боялась и любила близоруко... Прости, если можешь. Верь только, что крепко тогда любила, хотя и делала больно непониманием. *
Аля“.

---

* Намек на уход сестры Веры в монастырь.

* * *

Отцу становилось все хуже и хуже. Подходили мои именины. Папа их вспоминал, что-то удалось испечь и он был очень доволен сладким пирогом с малиновым вареньем.

После моих именин отцу стало еще хуже. Он со всеми примирился, ни на кого не имел зла, продиктовал обращение к евреям. Как-то я его спросила: „Папа, может быть, ты отказался бы от своих книг: „Темный лик" и „Люди лунного света"? Но он ответил, что нет, он считает, что в этих книгах что-то есть верное, несмотря на то, что он был настроен последнее время по-христиански.

В ночь с 22-го на 23 января 1919 года старого стиля — 5-го февраля н. с. — отцу стало совсем плохо. Надя осталась с ним ночевать и прилегла рядом. Я вошла в его комнату и увидела, что у него уже закатились глаза. Тогда я сказала Наде, — „беги за священником". Надя побежала к Флоренским, но не могла к нему достучаться; тогда она побежала в Рождественский переулок к отцу Александру. Он тотчас же пришел, но отец уже говорить не мог и ему дали глухую исповедь и причастили. Это была среда.

Рано утром в четверг пришли П. А. Флоренский, Софья Владимировна Олсуфьева и С. Н. Дурылин. Мама, Надя и я, а также все остальные стояли у папиной постели. Софья Владимировна принесла от раки преп. Сергия плат и положила ему на голову. Он тихо стал отходить, не метался, не стонал. Софья Владимировна стала на колени и начала читать отходную молитву, в это время отец как-то зажмурился и горько улыбнулся — точно видел смерть и испытал что-то горькое, а затем трижды спокойно вздохнул, по лицу разлилась удивительная улыбка, какое-то прямо сияние, и он испустил дух. Было около двенадцати часов дня, четверг, 23 января с. стиля. Павел Александрович Флоренский вторично прочитал отходную молитву, в третий раз — я.

Мы молча стояли у его постели и смотрели на его лицо.

Отпевать его повезли в приходскую церковь Михаила Архангела, близ нашего дома. Отпевали его трое иереев: священник Соловьев, — очень добрый, простой, сердечный батюшка, Павел Александрович Флоренский и инспектор Духовной Академии, архимандрит Илларион, будущий епископ; впоследствии он был сослан и по дороге в ссылку скон-

чался в больнице. Отец при жизни часто бывал у него, они дружили.

Хлопоты по похоронам взяла на себя Софья Владимировна Олсуфьева, она достала разрешение похоронить его на Черниговском кладбище, среди могил монахов монастыря, рядом с могилой Константина Леонтьева, близкого по духу друга моего отца.

Отвезли отца на дровнях, покрытых елочками, в Черниговский скит. Там встретила его монашеская братия с колокольным звоном. Мама на кладбише не ездила, она оставалась дома.

Мы с сестрой Надей пошли после похорон к старцу отцу Порфирию в келью, он нас благословил и мы вернулись домой.

После смерти отца, мама вскоре написала сестре Але письмо с описанием кончины отца и с просьбой приехать к нам навсегда жить. Письмо написано 10 февраля, под диктовку, сестрой Надей.

„Милая, дорогая Шура!

О смерти не пишу, дети напишут. Он тебя каждый день ждал, за день до смерти перестал говорить о тебе. Умер как христианин.

Смерть очень тихая, четыре раза приобщался, маслом соборовали, три отходных (прочитали молитвы — подразумевается *Т.Р.)* было, от Сергия Преподобного воздух положили на главу его, и он как бы заснул, улыбка светлая была три раза. Все делалось, и как делалось! Когда умер, ни копейки денег не было. И все было сделано. Таня все устраивала и хлопотала и Надя тоже.

Как живем в Посаде, я ничего не знаю. Меня кормят, всем хозяйством распоряжаются дети. Только за больным я ходила день и ночь 2 месяца. Надя помогала переменять белье, оправить его, я не могла поднять.

Таня на службе, Надя готовит обед, печки топит, воду носит, труда обеим много.

Теперь все сочинения переписывают, письма папины, рукописи, обед готовят (три слова неразборчиво написано *Т.Р.*)

Когда заболел отец, у меня стали с сердцем припадки.

Ты знаешь, как это неожиданно, — сейчас здорова, сейчас — умираешь. Ноги распухли. Я вижу, что свалюсь, попросила детей позвать священника, приобщилась и маслом соборовалась на ногах и мне стало лучше. Сердце перестало

болеть. И я выдержала смерть спокойно, и так рада, что такая кончина была без страдания.

За несколько часов до смерти я услышала слабое: „Тоскливо“, сказано с такой безумной, за душу щемящей тоской, как могут сказать только умирающие, — „я умираю?“ Я говорю — „да, я тебя провожаю спокойно, только меня поскорее возьми к себе“. Я опустилась на колени. „Прости меня за то, что я тебя не понимала, что я необразованный человек“. Попросила перекрестить меня и простить за все. Перекрестил и его последнее слово было: „ты моя самая дорогая была и есть и мне жаль тебя оставлять“. Потом не могла разобрать его слова..

Шура, дорогая, если ты можешь бросить свое имущество и приехать к нам. Обещать не могу, можешь ли ты заработок найти здесь. Я бы очень рада была и дети не такие сироты были бы.

Я очень слаба и мне хотелось бы на твоих руках умереть.

О голоде ничего не могу сказать. Таня с трудом находит, и молоко достаем — 50 рублей четверть. Прощай, дорогая. Целую тебя крепко. Ждем тебя скорее.

Не писала тебе, очень трудно, сердце болит. Слава Богу, что поправилась (подразумевается — относительно. *Т.Р.*), но голод замучил. Таня чуть жива, Надя очень раздражительна.

Я все не верю, что его нет. Все смотрю в окно и жду его. Целые дни в ушах: „мамочка, мамочка, дай папиросу“. День и ночь просил: „папироску, дорогая мамочка“.

Это самое ужасное — эти звуки слышать!

Целую, прижимая, крещу, жду тебя очень, очень. Варвара“ (так странно всегда подписывалась моя мать. *Т.Р.*).

Мама надеялась умереть на руках старшей дочери Али, а она бедная, пережила и дочь Алю, и дочь Веру, и умерла 15 июля 1923 года, но об этом после.

ГЛАВА VI

МЫСЛИ ОБ ОТЦЕ, ЕГО РАБОТАХ И ОБ ИХ СУДЬБЕ

Отец происходил из священнического рода — прадеды его были священниками. Один из профессоров Духовной Академии пишет в книге„Сто лет Академии“, что „прадед знаменитого писателя Василия Васильевича Розанова сильно пил“. По-видимому, он был богатырского сложения, так как, когда приезжал архиерей проверять епархию, то, чтобы задобрить его, духовенство ставило ведро водки. Таковы были нравы того времени. Отец мой ужасно боялся пьянства. У него с детства сохранились какие-то страшные воспоминания о попойках в их родне и окружающей среде. У нас дома никогда не покупалась водка, кроме случаев, когда заболевали дети и их растирали водкой, разбавленной водой.

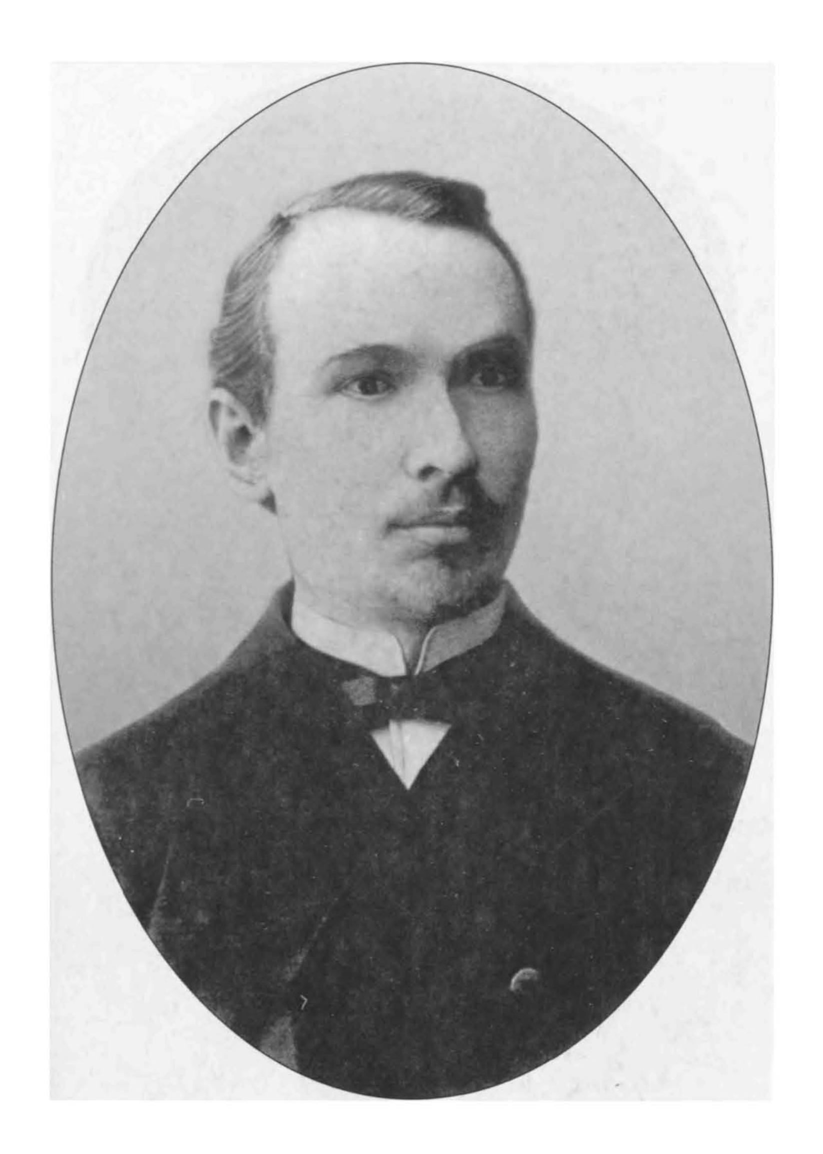
Мне бы хотелось, говоря об отце, описать его внешность, насколько я могу. Отец был невысокого роста, с узкими плечами, с довольно пропорциональной формой головы по отношению ко всей фигуре, лоб у него был очень большой, а на лице выделялся очень острый взгляд глубоко сидящих карих глаз с зеленоватым оттенком, смотрящих как бы и пристально и вместе с тем как-то растерянно на мир. В старости лицо его стало красивее и значительнее. У него были очень характерные и интересные руки: пальцы были не длинные, но с очень выразительным окончанием с выпуклыми крепкими ногтями, несколько утонченными к краям, и как бы созданные для творческой писательской работы. Он сам писал в одной из своих книг, что прирожденный талант писателя сидит в кончиках пальцев. Приблизительно так выразился он. Ноги у него было небольшие, сам был очень живой и юркий, говорил всегда как бы про себя — скороговоркой и часто в шутливом тоне, а если о чем-нибудь спорил, то всегда сердито, раздра-

женно и убежденно, до того, что вставал из-за стола, топал ногами и даже убегал. Он был вообще очень экспансивен, жив, несдержан, но очень откровенен. Он никогда не притворялся, никогда не показывал того, чего в нем нет. Воспитанным человеком он не был. Это была бурная стихия, вне всякой литературы и формы. Но зато, когда он писал, форма ему была присуща ранее того, чем он ее выразил на бумаге. В этом был залог особенностей его слога, на который обращали внимание все писавшие о нем, считая, что в этом была его гениальность. Даже в начале революции некоторые писатели полагали целесообразным открыть при Брюсовском „Институте слова" отделение литературы, изучавшее стиль Розанова.

Все сказанное о языке относится ко второму периоду его деятельности, когда он сблизился с Мережковскими и другими литераторами и начал печататься в журналах „Мир искусства", „Весы" и „Новый путь", издаваемый П. П. Перцовым, а позднее и в „Золотом руне". Тут-то он и выработал свой художественный язык, столь отличный от других писателей. За это время он издал книги: „В мире неясного и неразрешенного", СПБ, 1904, „Около церковных стен", т. 1—2, СПБ, 1906, „Итальянские впечатления", СПБ, 1909. Последняя книга явилась итогом впечатлений от поездки его вместе с матерью моей в Италию в 1901 году, когда врачи, найдя у него грудную жабу, посоветовали поехать лечиться и отдохнуть в Италию. Средства на лечение и поездку дал А. С. Суворин.

Как отец работал? Он никогда не исправлял что напишет. Он писал сразу набело, мелким, бисерным почерком. Прочесть его работу мог только один метранпаж в „Новом времени", которого и держал Суворин специально для Розанова. Поэтому рукописей у него сохранилось не так много, как у других писателей, так как я предполагаю, что не все рукописи отца возвращались из типографии. Перерабатывать свою статью он органически никогда не мог и отказывался. А если в редакции не нравилась его статья, то он писал совершенно новую... Переписывать свои статьи он также отказывался, боясь по своей рассеянности ошибок. Поэтому он иногда варварски поступал, — вырезал из книг нужные ему цитаты. А если приводил их на память, то обыкновенно перевирал, в чем его часто упрекали. Но это не было следствием его небрежности.

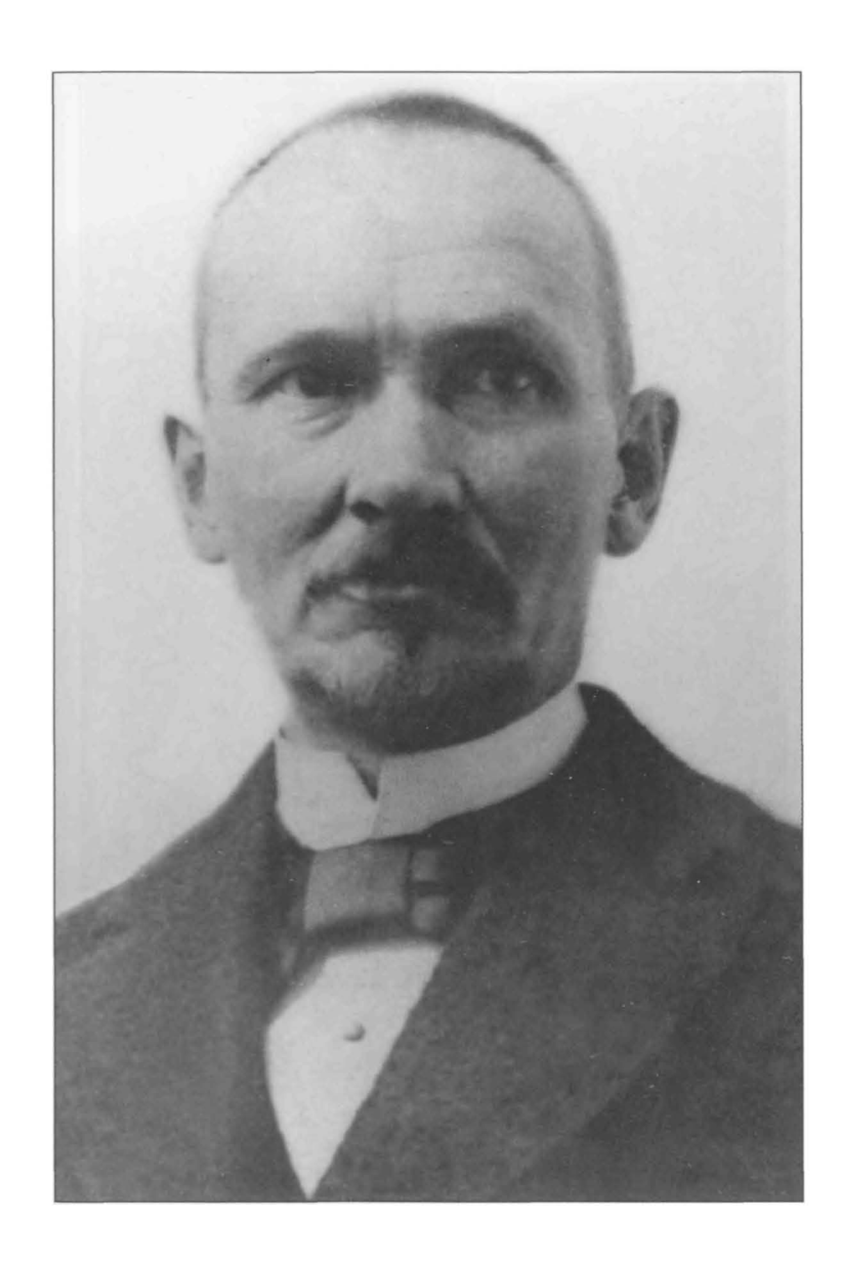
Некоторые статьи по политическим причинам не проходили в „Новом времени". Василию Васильевичу было жаль



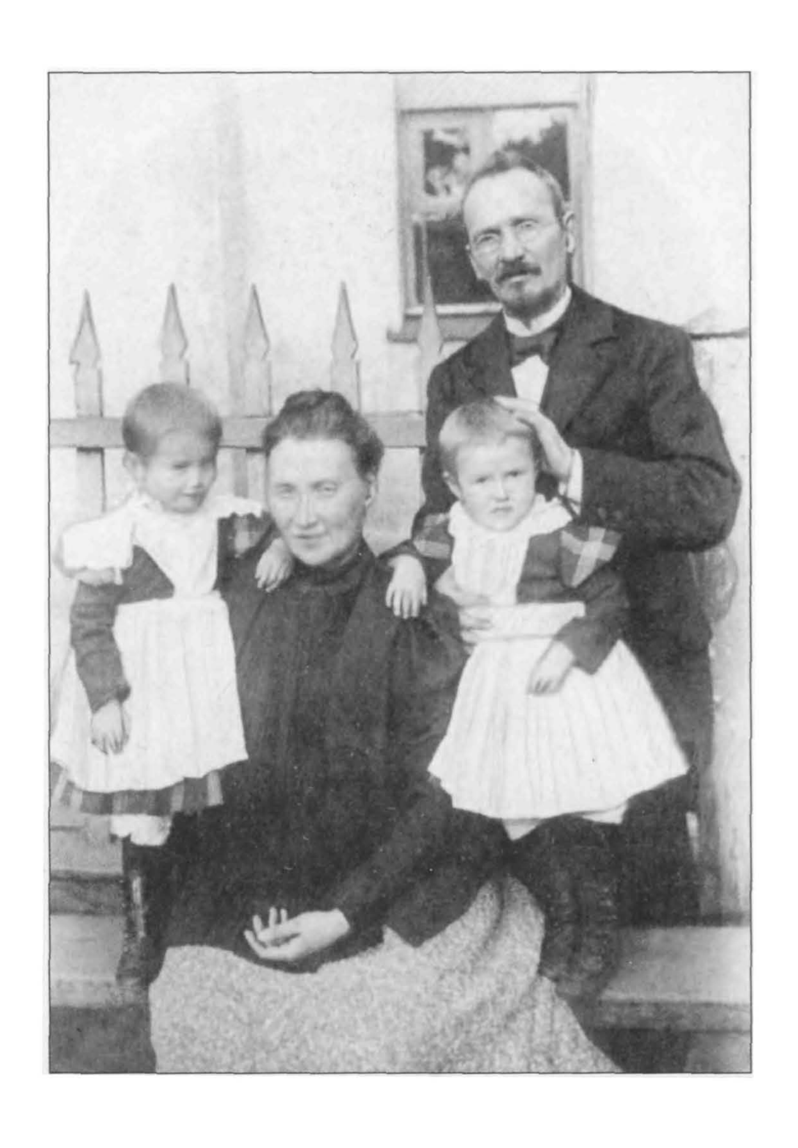
В.В. Розанов.
Конец 80 — начало 90-х годов.

Татьяна Розанова с матерью Варварой Дмитриевной

Дети В. В. Розанова. Крайняя слева Татьяна.



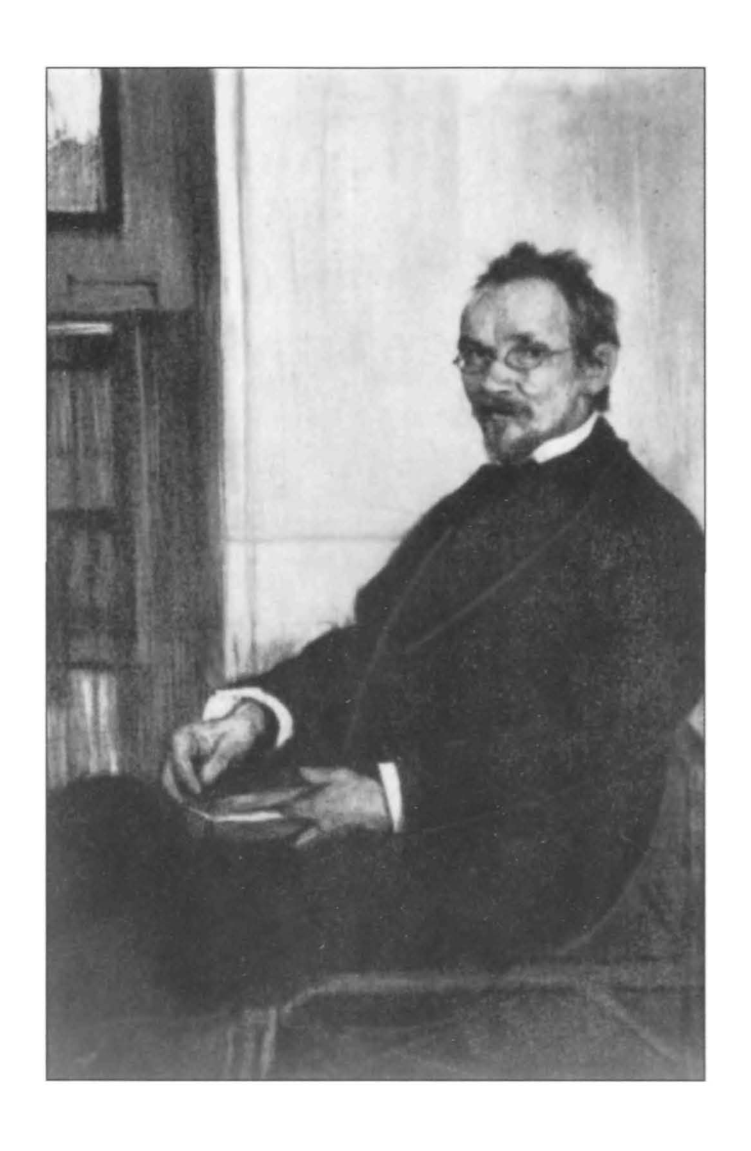
Василий Розанов. 1899 год.



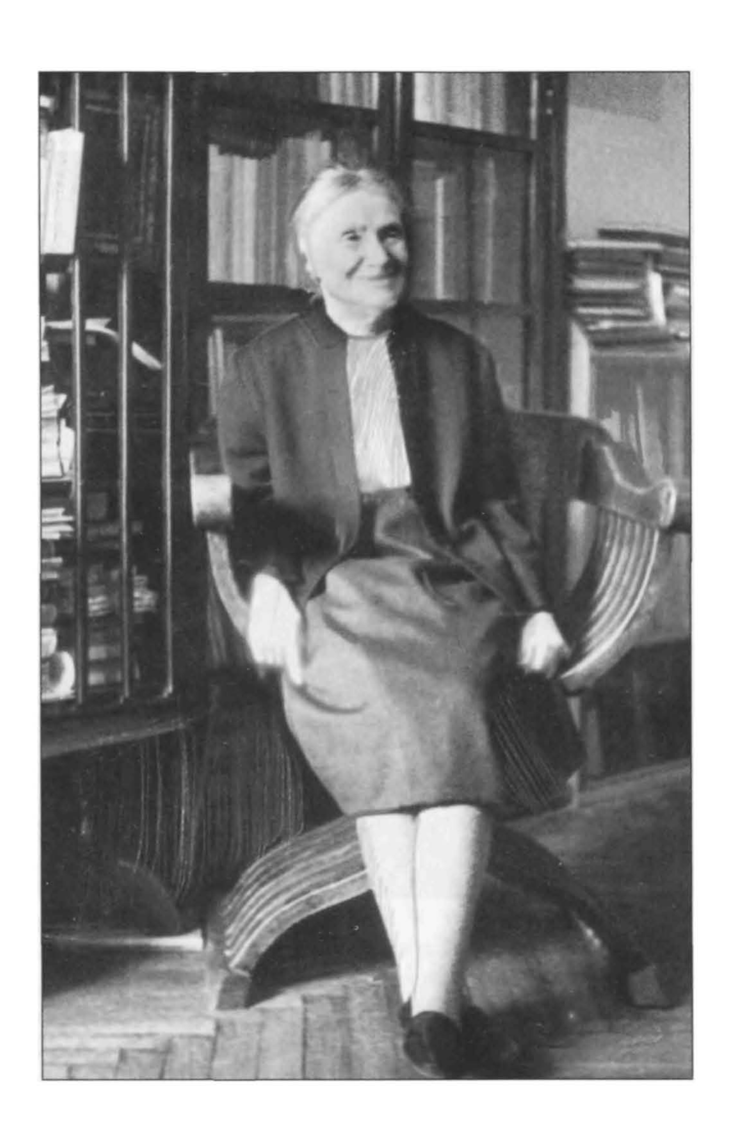
В. В. Розанов со своей спутницей жизни
Варварой Дмитриевной Бутягиной и детьми
Верой (справа) и Таней.



В. В. Розанов с дочерью Варварой.
1910-е годы.



Портрет В. В. Розанова.
Автор Л. С. Бакст. 1901 г. Пастель.



Т. В. Розанова.
Москва, 1974 г.



Могила Варвары Дмитриевны,
жены В. В. Розанова
в Сергиевом Пассаде.
15 августа 1923 г.

своей ненапечатанной статьи и он посылал ее в Москву в „Русское слово“ и другие газеты под разными псевдонимами: „Варварин“, „Ибис“, „Старожил“, „Обыватель“ и др. Почему он печатал под псевдонимом? Потому что он по договору с Сувориным не имел права печатать свои статьи в других газетах, так как он состоял на жаловании в „Новом времени“, и кроме оплаты за статьи, получал построчно. Но его интересовала не только денежная сторона, но и желание часто выразить свои мысли в более либеральном духе, чего не допускало „Новое время“. Суворин это знал, но смотрел на это сквозь пальцы. Вся же остальная пресса подняла невероятную шумиху вокруг этого дела. Называли отца „Иудушкой“, предателем и всячески его поносили. А я считала и считаю, что это было хорошо. Он был шире и правого „Нового времени“ и „Гражданина“, а также левой либеральной газеты „Русское слово“ и кадетской „Речи“.

Теперь будем говорить о взглядах отца философских и политических на разных этапах его творчества. Начал он свою литературную деятельность под влиянием Страхова, Леонтьева и Данилевского; бывал он на литературных вечерах Николая Николаевича Страхова. Он был консервативно настроен, религиозен, но без всякого фанатизма. С церковью же его разъединял факт его незаконного брака с моей матерью, но тут еще не выявилось его резкое отношение к Церкви, и он очень страдал. На этом этапе волновали его и вопросы школы, так как до этого времени он многие годы был учителем и знал трагедию в постановке школьного дела. Незадолго до этого он выпустил книгу „Сумерки просвещения“. Книга чрезвычайно интересная, на мой взгляд, но написанная тяжелым еще языком, на что Страхов указывал и учил его писать вообще короче и яснее. Несколько позднее он встречается с Перцовым, издает книги: „Религия и культура“, „Природа и история“. В 1901 году он сближается с Мережковским, З. Гиппиус, с Минским, Бакстом, несколько раз на вечерах у нас бывал и Дягилев, приходил Бердяев, Вячеслав Иванов. Отец пишет статьи по искусству, о художниках и выставках. Этот период считается расцветом его творчества, он тут наиболее признаваем, его начинают провозглашать гением и сравнивать с Ницше. Отец всегда смеялся: „Ну, какой же я Ницше! Во мне ничего демонического нет!“ Василий Васильевич выпускает книгу: „В темных религиозных лучах“. Эта книга была запре-

щена и уничтожена. Один уцелевший экземпляр этой книги был передан уже после революции в библиотеку им. Ленина. В этой книге была критика христианства и разбирался вопрос о связи религии с полом. Мережковский превозносил эту книгу. Отсюда началась его дружба с Мережковским, а также положено было начало организации Религиозно-философского общества, где было стремление сблизить духовенство с интеллигенцией. К этому времени отцом была выпущена вторая книга, состоящая из двух частей. Первая книга: „Темный лик“, а вторая — „Люди лунного света“. Эту книгу цензура пропустила, а она, между прочим, менее интересна, чем первая, — запрещенная, — „В темных религиозных лучах“, но в ней более завуалирована главная идея о связи религии с полом и потому-то она была пропущена цензурой. В нашей семье очень не любили эту книгу, ни мама, ни я, ни старшая сестра, а Мережковские торжествовали, но отцу это было неприятно. Назревал какой-то надлом. Мама же очень не любила Мережковских и недовольна была сближением отца с ними, считала это удалением отца от Церкви и очень волновалась. Приблизительно в это же время отец выпустил книгу в двух томах под названием „Семейный вопрос в России“, СПБ, 1903, собрав огромный материал по бракоразводному делу. Он опять пытался через чиновника Синода Тернавцева получить развод от Сусловой, но все было бесполезно. Однако эти его работы оказали влияние на новое законодательство, облегчающее бракоразводные процессы. Отец рассказывал, что были случаи, когда сумасшедшего мужа заставляли жить с нормальной женой и обратно. В это же приблизительно время он подает на высочайшее имя государю просьбу об узаконении его пятерых детей, указывая на то, что он не принадлежит к потомственному дворянству, а получил личное дворянство по окончании высшего образования. Мы были узаконены и получили и отчество и фамилию отца. Положение же матери оставалось неизменным, поэтому отец, когда писал „Опавшие листья“ и „Уединенное“, называл мать мою „Другом“ — он не мог назвать ее официально женой. Но какое огромное значение она имела в его жизни, приведу цитату из „Опавших листьев“, короб 1, стр. 11.

„Если бы не любовь „друга“ и вся история этой любви — как обеднилась бы моя жизнь и личность.

Все было бы пустой идеологией интеллигента и верно скоро бы все оборвалось бы.

... О чем писать?

Все написано давно (Лермонтов).

Судьба с „другом“ открыла мне бесконечность тем и все запылало личным интересом“.

А также приведу его отзыв об отношениях к матери (короб. 2, стр. 16). Отец, говоря о своей книге „Уединенное“, писал, что она явилась „как попытка выйти из-за ужасной занавески, из-за которой не то, чтобы я не хотел, но не мог выйти.

Это не физическая стена, а духовная — и как страшнее физической“.

„Отсюда же и привязанность или вернее какая-то таинственная зависимость моя от „друга“... в которой одной я сыскал что-то нужное мне... тогда как суть „стены“ заключается в „не нужен я“ — и не нужно мне“...

... (задыхаюсь).

А между тем, во мне есть „дыхание“. „Друг“ и дал мне возможность дыхания. А „Уединенное“ есть усилие расширить дыхание и прорваться к людям, которых я искренно и глубоко люблю“.

Будем же теперь говорить более подробно о политических его убеждениях. Первый период его жизни, когда жив был еще Страхов, он был спокойно-консервативно настроенный человек. При сближении с Мережковскими он начал незаметно леветь, а в 1904—1905 гг. он поддался общему революционному настроению общества, так как он сам прожил трудную жизнь; знал нищету и голод и с этой стороны сочувствовал бедному люду. Отсюда вытекли его статьи, скрашенные революционным духом, которые затем вошли в его книгу „Когда начальство ушло“, СПБ, 1910. Но это был недолгий период в его жизни. Затем он очнулся, посмотрел вокруг себя, увидел богатую, сытную кадетскую прессу, самодовольную и очень далекую от народных нужд и повернул вспять. В это время он дважды издал книгу „Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову“, СПБ. Одну из них в 1913 году. В это время мать моя продолжала сильно болеть. Летом в 1913 году отец с матерью уехали в Бессарабию в имение Апостолопуло к своим друзьям; отец очень в плохом душевном состоянии, мать больная; отец

дружил с самой помещицей, которая была настроена крайне консервативно и враждебно к евреям, так же, как и ее друг. Они указывали отцу на эксплуатацию помещиков евреями и скупку ими по дешевым ценам хлеба у помещиков. Вот тут начинается поворот отца от интереса его к юдаизму к сугубо национальным русским интересам. Здесь он пишет книгу под названием „Сахарна“ (так называлось их имение), подготавливает ее к печати, но начинается война 1914 года и книга не появляется в печати. Единственный сброшюрованный экземпляр был передан в 50-х годах в Государственный литературный музей. Книга была местами очень интересная, в ней были оригинальные афоризмы.

„Все хорошо.
Оттого я так жизнерадостен,
Что много страдал.
Оттого я люблю радости что они были редки.

4 июня 1913 г.“

„Вечное солнце течет в моих жилах
И томит и зовет
И наполняет счастьем
... вот отчего я пишу.
И земля и грязь здесь
И холод (на обрывке корректуры).

„Мимолетное“ В. В. Розанов (рукопись была продана Гржебину. Куда она потом девалась — неизвестно).

„Что же победит — буря победит покой,
Или покой победит бурю?
Буре — час
Покою — вечность.
— Хитрый бес подсказал,
но буря занимательнее покоя

(Я!)

Зачем о победе? Зачем о борьбе.
Каждый ложится в свое место и в свое время
Бог мудрее человеков и дал миру бурю и покой.
(Ночью в постели)

20/X-1915?

Из „Мимолетного“:

30.IV.

Всякое определение есть сужение. (философия)
И определять не нужно.
Пусть мир будет неопределенен
Пусть он будет свободен.
Вот начало хаоса...
Он так же необходим, как разум и совесть.
Живем и горим
Живем и путаемся
„С утра подметают“,
А к вечеру смотришь — везде сор.
Этот сор — наша жизнь.
Разве она плоха?

24.V.

В минуте иногда больше содержания, чем в годе.
А когда приходит смерть, то в ее минуте столько
Содержания, сколько было во всей жизни.
„Что же такое время? И час, год, неделя —
(У Филиппова за кофе).

5.VIII.

„Только те люди счастливы, которые не думают
о себе.
Зато это самый прочный вид счастья.
Его не ест червь, не подпаляет огонь“.
(Конка).

20.X.

„Дана нам красота невиданная
И богатство неслыханное.
Это — Россия.
Но глупые люди все расстратили.
Это — русские.

В это же примерно время началось крупное дело Бейлиса, в обсуждении которого приняла участие как русская, так и западная пресса. Обсуждался вопрос, — возможно ли ритуальное убийство в наш цивилизованный двадцатый век? Общество разделилось. Розанов и очень немногие утверждали, что возможно; большинство же отрицало это. В это время, озлобленно настроенный, мой отец выпустил очень резкие

брошюры и книги против евреев, что заставило Религиозно-философское общество отмежеваться от него и исключить его из членов этого общества. Этот поступок отца был для него роковым. Он остался почти в одиночестве и замкнулся в себе. Статьи его почти перестали печататься и положение его резко изменилось. Тут началась война 1914 года, отец писал приподнято-патриотические статьи, печатал их в газете, а потом они вошли в его книгу „Война 1914 года и Русское Возрождение“, Петроград, 1915 г. Там было очень много интересных страниц, но в целом она, может быть, звучала и неверно.

В 1915—1916 годах жизнь была очень тяжелая и материально и морально в нашей семье. В 1916—1917 годах отец мой стал издавать по выпускам книгу „Из восточных мотивов“, посвященную древнему Египту (вышло три выпуска, четвертый был подготовлен). Еще задолго до издания, он просиживал многие часы в Эрмитаже, срисовывал древне-египетские изображения. У него составился огромный альбом с этими рисунками, который в 1947 году Сергей Александрович Цветков продавал для нас, кажется, в библиотеку Ленина, — не помню точно. Выпуски эти печатались на роскошной бумаге верже, которую отец закупил для издательства „Сириус“ и надеялся выпустить в свет большую работу. Он сделать этого не смог. Наступила революция и отец продал эту бумагу известному издателю Сибашникову.

В 1917 году в сентябре месяце мы, как я уже говорила, по семейному совету, переехали в Троице-Сергиев посад, где отец прожил недолго, всего два года — он умер в 1919 году 23 января (по старому стилю), 5 февраля по новому стилю, как указывала З. Н. Гиппиус в своих работах, изданных за границей.

За время жизни в Троице-Сергиевом посаде он издал в десяти небольших выпусках „Апокалипсис нашего времени“ у местного издателя Елова. Книга эта была запрещена и уничтожена.

Я уже говорила о том, что в годы 1913—1917 Василий Васильевич был настроен чрезвычайно против евреев, о чем он писал в своих работах. Но в самой последней его работе 1918 года „Апокалипсис нашего времени“ эта нота уже не звучит.

Он задумывается о судьбах России и уже многие трагические явления в нашей жизни объясняет не еврейским влиянием, а некоторыми национальными особенностями русского народа. В разговорах с нами он отмечает хорошие семейные устои еврейского народа, его таинственную живучесть в истории, а кроме того, чувствуя приближение смерти, он ищет примирения со всеми людьми земли, о чем говорят его предсмертные письма.

Приложение I

О НУМИЗМАТИКЕ ПИСАТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РОЗАНОВА

Мой отец, Василий Васильевич Розанов много лет собирал монеты. Мысль о собирании монет появилась у него в 1880 году. Я же лично помню его работу над монетами в течение многих лет. Он садился часов в 12 ночи за письменный стол, начинал разбирать монеты, любоваться ими, рассматривать в лупу отдельные детали монет. Сверял по каталогам, записывал на маленькие этикеточки, которые он вкладывал в картонные коробочки, оклеенные зеленой бумагой; каждая коробочка соответствовала размеру монет.

Шкаф был размером приблизительно в два метра в вышину и два в ширину. Затем отец задумал составить опись монет, к этому его побудил П. А. Флоренский, с которым он много беседовал о монетах (как видно из письма редактора журнала „Вешние воды" — Спасовского).

Некоторые любимые монеты отец старался срисовать, для чего пригласил Татьяну Николаевну Гиппиус, сестру З. Н. Гиппиус. Она очень хорошо это делала, и у нее было собрано много рисунков, — куда девалось все это не помню. Это было любимое занятие моего отца, над ними он отдыхал, он любил размышлять о древнем мире, о языческих культах, всматривался в лица римских императоров, делился даже с нами, детьми, своей любовью. Занимался монетами до 4—5 часов утра, вставал затем в 9 часов утра, а днем спал еще два часа, и тут его нельзя было будить, детей всегда уводили в это время гулять, чтобы не мешали спать.

Отец был такой известный нумизмат, что в. к. Сергей Александрович приглашал его посмотреть его коллекцию. Отец осмотрев ее, сказал, обращаясь к в. к.: „Ваше высочество, моя коллекция больше и богаче" („и интереснее по содержанию вашей") — так добавил он в кругу семьи, когда

рассказывал нам о посещении в.к. в его дворце у Аничкова моста.

Эта любимая его коллекция погибла катастрофически после революции. Летом 1917 года мы переезжали на другую квартиру на Шпалерную улицу и шкаф с монетами поместили на хранение в склад. Вскоре я уговорила отца вынуть золотые монеты и взять их домой. Он их поместил в сейф Главного Государственного банка, а потом банк выехал в Нижний Новгород. С тремя золотыми монетами отец никогда не расставался, всегда носил их в кармане брюк, все их рассматривал. Когда после революции из Троице-Сергиева посада он поехал в Москву во время голода и заснул на вокзале, их у него украли или он их потерял. Он не мог никогда этого забыть и это сильно на него подействовало.

С остальными монетами случилось вот какое несчастье: в складе от разницы температуры разбухли пазы шкафа и коробочки с монетами сместились; таким образом работа всей его жизни погибла — научную ценность она потеряла, надо было снова ее определять, а это было невозможно, это была работа всей жизни. В шкафу были серебряные и медные монеты; часть серебряных монет сложили в ящик и в голодовку в 1920 году продали в Исторический музей. Денег, которые мы получили за эти монеты, хватило на два килограмма сливочного масла и на то, чтобы заплатить за квартиру. Остальные золотые монеты, которые были в сейфе Государственного банка, мы хотели спасти для науки и хлопотали уже после смерти отца, чтобы монеты не расплавили, а отдали бесплатно в музей. Ездила я сама в Москву в Наркомпрос к Троцкой, но коллекции этой не нашли и документы вернули.

После продажи части монет в 1920 году Историческому музею, большую часть серебряных и медных монет мы отдали на сохранение знакомым, так как переезжали на новую квартиру и такое количество монет нам было негде хранить, а от покупки этих монет учреждения отказались. Так они пролежали в разных местах до декабря 1947 года, когда были проданы сестрой Надей в частные руки — одному армянину. Тогда мы получили значительную сумму денег, которые нас очень поддержали, так как сестра Надя тяжко заболела вскоре и лежала в больнице.

Приложение II

ИСТОРИЯ ХРАНЕНИЯ АРХИВА В. В. РОЗАНОВА

В 1917 году архив В. В. Розанова оставался в пустой квартире профессора Зорина в Ленинграде. Мною был оттуда вывезен в 1918 году и привезен в Троице-Сергиев посад (ныне именуемый г. Загорск). В 1943 году, во время блокады Ленинграда, часть архива находилась у сестры — Надежды Васильевны Верещагиной в Ленинграде. Сестры не было в городе, когда была сброшена немцами бомба и разрушилась часть квартиры. Архив же сохранился и пролежал в пустой квартире до 1947 года, откуда вывезен сестрой Надей в Москву и помещен в Государственный литературный музей.

Часть архива еще при жизни отца была сдана им в Имп. Публичную библиотеку Петрограда (главным образом письма писателей). В 1947 году мною и Надей в библиотеку им. Ленина были сданы письма писателя П. П. Перцова, В. А. Тернавцева, письма протоирея Устьинского, фотографии Нестерова, Л. Толстого, Перцова, философа Шперка, письма отца к матери за всю жизнь, письма отца ко мне, а рукопись его „Апокалипсис нашего времени“ была продана тогда же в библиотеку им. Ленина.

1958—1959 гг. после смерти сестры Н.В.Верещагиной, часть оставшегося архива семейного была сдана мною, — Т. В. Розановой, в Государственный литературный музей в Москве, на Якиманке безвозмездно. К письмам сделаны мною примечания.

В 1956 году, после смерти сестры Нади, по ее устному завещанию, все ее графические работы, а также работы ее второго мужа, Михаила Ксенофонтовича Соколова, были переданы ее подруге, Елене Дмитриевне Танненберг. Кроме того, все книги по искусству, которые собирали мой отец, моя сводная сестра, Александра Михайловна Бутягина, и сестра Надя, также были переданы Елене Дмитриевне Танненберг по желанию сестры Нади.

ГЛАВА VII

СМЕРТЬ СЕСТЕР ВЕРЫ И АЛИ. КОНЧИНА МАТЕРИ

Мама со смертью отца очень изменилась, очень ослабла, у нее опухли ноги и она почти не могла ходить. У нее стало какое-то остановившееся, притупленное выражение лица, как будто она уже более не могла выносить горя. Она уже ни во что не вмешивалась в хозяйстве и ни на что не реагировала, все взяли в руки мы с сестрой.

Вскоре материально стало легче, в это время откуда-то, с разных концов пришли деньги. Софья Владимировна навещала нас, звала и меня к себе, и я стала бывать у них. Удивительный случай был у меня с Софьей Владимировной. Как-то еще до смерти отца, она подарила мне небольшую иконку: „Утоли моя печали", и вот ее мы положили в гроб отцу, а когда хоронили отца, — то это был как раз праздник в честь этой иконы. Тогда Софья Владимировна мне об этом сказала: „Какое удивительное совпадение!"

Продолжаю рассказ о маме. По письму матери видно, как тосковала она и ждала старшую дочь. Сестра Аля откликнулась на зов матери и вскоре приехала, бросив имущество и квартиру на попечение знакомых. Мы очень обрадовались ее приезду, но огорчились, что она приехала со своей подругой Наташей Вальман. Мы огорчились потому, что не знали, как же мы все проживем, да и мама не очень ее любила. Но потом все образовалось. Она была более сильная, чем мы, помогала пилить и колоть дрова, но все же было очень и очень трудно.

Сестре Вере мы послали письмо о смерти отца, а Варю не могли известить, так как сообщение с Украиной было прервано.

От Веры скоро пришло очень скорбное письмо с извещением, что она может к нам вернуться из монастыря, без

всяких подробностей. Что случилось, мы не понимали. Вскоре Вера к нам приехала.

Она произвела на нас очень тяжелое впечатление, была какая-то убитая, объясняла свой приезд в отчий дом очень спутанно, чувствовалось, что она что-то не договаривает. Мы знали, что в последнее время она была учительницей при монастыре. При отъезде ей дали довольно значительную сумму денег, как бы плату за ее труд, она нам ее торжественно отдала, не понимая хорошенько, что на эти деньги в то время ничего нельзя было купить. Она сильно кашляла и до странности была голодна. Когда мы перед ней поставили горшок ржаной каши, очень неприятной на вкус, без масла, она весь его съела, значит, была истощена до последней степени. Позвали врача. Он установил вновь вспыхнувший туберкулез легких, назначил лечение, но это не могло помочь при тех ужасных условиях жизни, которые в то время были у нас. Сестра Вера производила очень странное впечатление, говорила о каких-то страшных грехах, что она обречена на погибель. В довершение нашего несчастья, мы все поехали как-то в Хотьково в церковь, где были похоронены родители преп. Сергия. По дороге в храм мы встретили странную женщину, по виду монашку, которая что-то страшное сказала Вере. Она совсем была потрясена. Что-то еще с ней приключилось в храме, мы подумали, не сошла ли она с ума. Когда мы вернулись из Хотьково, ей сделалось еще хуже. При ней была неотлучно сестра Аля, потом стали приходить к ней Сергей Николаевич Дурылин, в то время он был очень набожен, говорил с с ней неосторожно, больше запугал ее, чем облегчил ее душевное состояние. Ей всюду мерещились бесы, она боялась их, говорила о самоубийстве. Мы как-то не верили ей, но сестра Аля очень боялась за нее и была при ней неотлучно.

Когда сестра Вера была еще на ногах, она пошла к отцу Порфирию, он временно утешил ее, сказал ей, чтобы она занялась рукоделием, она стала вышивать, ей стало легче, но временно, затем она совсем слегла. К ней часто для бесед приходил Сергей Николаевич Дурылин.

В 1919 году, летом, в Троицын день, к нам пришел Дурылин и принес читать свой, только что им написанный, рассказ „Странница". Рассказ этот был посвящен одной жене священника, которая мучилась такой невыразимой тоской, что ушла навсегда из дома странствовать... Рассказ был печаль-

ный и странный, написан хорошо. Вера в Сергея Николаевича впилась глазами. Все молча разошлись спать.

На другой день, рано утром, сестру Веру нашли на чердаке повесившейся. Надя первая увидела ее и после этого заболела душевно; с тех пор совсем изменился у нее характер, она стала очень нервной. Я увидела сестру Веру уже только в гробу. Лицо у нее было удивительно спокойное и красивое — какое-то умиротворенное.

Церковь ее разрешила хоронить, так как священник нашел ее душевнобольной и разрешил предать земле по церковному обряду. Похоронили ее уже без звона, в том же Черниговском монастыре, рядом с могилой отца. На другой день пришло роковое письмо от игуменьи монастыря Евфросинии, письмо ее ласковое, полное обещаний через некоторое время взять ее обратно в монастырь, чего сестре очень хотелось, она тосковала о монастыре и о матушке и ждала этого письма ужасно.

... Кто знает, если бы письмо не запоздало на один день, может быть, ничего бы и не случилось. Рок.

* * *

Сестра Аля очень винила себя, ведь она каждую ночь ходила смотреть, как Вера спит, она боялась за нее, а тут в первый раз, усталая, не пошла ее навестить.

Надя была в таком ужасном состоянии, что решили отпустить ее к подруге, — Лидии Доментьевне Хохловой, в их имение. Нас дома оставалось четверо — мама, я, Аля и Наталья Аркадьевна Вальман. Жить после катастрофы с Верой в этом доме стало невозможно. Мы начали хлопотать о переезде куда-нибудь в другой дом; было мало денег; мало сил и огромная громоздкая обстановка. Тогда мы стали думать о квартире в монастырских домах, в то время они уже были в ведении исполкома.

Мы стали просить у секретаря исполкома, который еще в старое время был знаком с моим отцом по своей жене. Нас пожалели, выпросили ордер на освободившуюся квартиру в 4-м доме Советов по Переяславской улице. На парадной двери стояли красные печати; потом эти печати много нам портили в жизни, потому что думали, что были когда-то арестованы.

Шел 1920 год. Сестре Але, наконец-то удалось устроиться на работу в Электротехническую академию секретарем. В то время Духовная Академия была закрыта, а в ее помещение въехало военное учреждение из Петрограда. Сестрой на ра-

боте были очень довольны, у нее был хороший военный паек, я в то время работала в библиотеке городской, а Наталья Аркадьевна тоже устроилась в частную гимназию Цветковой преподавать русский язык. Мы кое-как кормились. От Вари пришло первое письмо, там установилась Советская власть; дядя сильно болел и сестра Варя выразила желание вернуться домой. На этом очень настаивала и сестра Аля.

Летом 1920 года я работала сначала в бывшей кооперативной библиотеке, переведенной в главные ряды нашего города. Библиотека была хорошая, в нее влилась частная библиотека Дмитриевской. Но летом случился пожар. Загорелись главные Святые ворота Лавры от маленьких лавчонок, ютившихся возле Лавры. Был ветер и огонь перенесся через всю площадь и загорелись центральные, торговые ряды на площади и наша библиотека. Была вызвана милиция и пожарная команда, тушили усердно. Часть книг была спасена, но библиотека закрылась и я перешла работать в Упрофбюро на культурную работу по организации клубов. В это же время по совместительству я начала работать машинисткой в Электротехнической академии, куда меня устроила в свою канцелярию сестра Аля. Потом я совсем ушла из Упрофбюро и работала только в академии.

В это же время вернулась и Надя от Хохловых и поступила в детскую библиотеку работать, получала грошовое жалование и крошечный паек. Мы с трудом сводили концы с концами. Меняли вещи, сажали картошку на огороде близ Лавры; одна комната была полностью завалена картошкой. Всего труднее было с дровами. На нашу квартиру в четыре комнаты нужно было доставать 4 кубометра дров. Надо было идти в лес пилить дрова, чтобы внести их в жилуправление на центральное отопление. Комнаты нагревались зимой только до 4—5 градусов тепла, вода стыла и почти замерзала в комнатах. Осенью я и Надя, вместе с нанятым рабочим, ходили в лес валить деревья.

Сестра Аля не выдержала этой жизни, она стала болеть. Раз она решила от службы идти на субботник в лес, собирать сучья, и как я ее не умоляла не ходить, она не послушалась и пошла в лес. После этого она заболела и слегла. В квартире был ужасный холод — два градуса тепла. Сестра переехала в кухню, устроила там времянку, она дымила немилосердно.

Помню вечер. Вдруг Аля подняла голову с подушки и воскликнула: „Вот, вот, сейчас я видела бабушку и дедушку,

они меня зовут к себе". С этих пор сестра Аля стала говорить о своей близкой смерти, у нее был все время жар и болела сильно голова, нашли у нее паратиф. Ей выхлопотали комнату в гостинице — там жили служащие Электротехнической академии и было несколько теплее, а у нас стоял настоящий мороз в квартире. Она жила там с Натальей Аркадьевной.

Аля не спала по ночам, очень болели все суставы, и была крайне раздражительна и до крайности стала недоверчиво относиться к нам. Наталья Аркадьевна все ночи напролет читала ей Тургенева, которого сестра так любила. Потом знакомые устроили ее в бывшую земскую больницу. Она находилась на окраине города, грязь там была непролазная, но сестра Надя, несмотря на ужасную дорогу, через день ходила навещать Алю и приносила ей четверть молока. Сестра пила только одно молоко, есть ничего не могла, небольшая температура все держалась. Врачи не определяли ее болезни, не могли понять, что с ней. Она просила ее взять из больницы и Флоренский устроил ее в Красный Крест, где была богадельня для престарелых сестер войны 1914 года. При богадельне была больница и церковь, где он был священником.

Помню, последний раз я пришла к ней перед Рождеством, в обед с работы, принесла ей два платка вязаных — один белый, другой черный, на выбор. Она взяла белый, была очень ласкова со мной, улыбнулась печально на прощание. У меня сжалось сердце, — на лице сестры Али проступали черные, зловеющие пятна; я поняла, что жизнь ее держится на волоске. Мне не хотелось от нее уходить, но надо было идти на работу. Вечером все были усталые и никто к ней не пошел. А за это время вот что произошло. К ней пришла одна старушка, очень экзальтированная и говорливая, и стала говорить Але, что врачи земской больницы очень обижены на нее, что она самовольно уехала из больницы. Сестра Аля очень взволновалась, с ней сделался сердечный приступ и вечером она скончалась. К нам пришли только утром сказать о ее смерти и рассказали, как было дело.

Только за несколько дней до ее смерти нашли у нее туберкулезные палочки в почках и, вообще, общий миллиарный туберкулез. Спасти ее уже нельзя было. Тот случай только ускорил ее смерть.

На службе к сестре очень хорошо относились, уважали ее и любили. С ее службы нам выдали денег на похороны. Отец Павел Флоренский отпевал ее в церкви Красного Креста. Ее

начальник присутствовал при ее отпевании — он очень ее уважал.

В гробу она лежала удивительно розовая. Мы страшно испугались: во время заупокойной литургии службу остановили, по церкви пошел шопот, что, может быть, это не смерть, а летаргический сон. Гроб оставили стоять еще на одну ночь. Врач был молодой, еще неопытный и не знал, что смерть от сердца дает такие явления. Ее отпевали на другой день и похоронили в Черниговском скиту, рядом с отцом и сестрой Верой. Ей было 40 лет. Умерла она 20 декабря (по старому стилю) 1920 года.

При жизни Александра Михайловна очень горевала, что Варя на Украине, она написала ей письмо, чтобы Варя приехала. Та приехала весной 1921 года, уже не найдя сестры в живых. Мы остались жить впятером: мама, Варя, Надя, Наталья Аркадьевна и я.

Рождество прошло очень тяжело. Наталья Аркадьевна очень изменилась, вся опухла, потому что не спала почти все ночи с больной сестрой, и когда Аля умерла, сказала, что не сможет с нами жить и уедет в Ясную Поляну, где знакомая предложила ей работу.

Меня это совсем убило, я чувствовала нашу полную беспомощность, умоляла ее остаться с нами, но она не согласилась. Мы ей дали немного денег, отдали ей хороший небольшой кожаный папин чемодан и все рукописи покойный сестры Али. У нее было написано несколько рассказов, которые были некогда напечатаны в „Русской мысли" — „Вечернее", „Безликое" (из жизни в Ельце) и „Сиреневое платье" (последний рассказ в духе Мопассана). У Али еще был написан большой роман о жизни художника, в нем было описано самоубийство девушки, как бы в предчувствии смерти сестры Веры. Я этот роман не читала — он еще не был напечатан. Теперь я так раскаиваюсь, что отдала эти рукописи Наталье Аркадьевне. Они, наверное, пропали. Наталья Аркадьевна снова вернулась к нам уже в 1938 году, но ее не удалось прописать и она уехала. Она была какая-то странная, в ней было что-то очень неприятное, и я уже была рада, что она уехала. Про рукописи сестры она молчала, мы не спрашивали... боялись, что она будет нам что-нибудь лгать и задержится у нас. Больше я ее не видела, а сестре Наде она писала дикие письма, сестра ей не ответила. Так печально кончился этот эпизод. Она сыграла в нашей жизни и положительную роль и отрицательную, так

как совсем не подходила к нашей семье. Я с печалью вспоминаю о ее жизни у нас. Папа с мамой ее очень не любили и еле терпели; с нами она была хороша, но старалась нас отдалить от родителей и скептически к ним относилась. Она вносила раздвоение в нашу семью, и было много в этом горечи, но в ученьи она нам помогала, и сестра Аля ее любила.

В 1920 году, как я уже говорила, Надя работала в детской библиотеке, а затем и Варя в 1921 году поступила в качестве воспитательницы в детский дом, но проработала там недолго, получилась с ней глупая история. Варя гуляла с детьми, решила летом искупаться с ними, а потом вздумала в рубашке танцевать „*a la* Дункан“. В это время, к несчастью, проезжал мимо заведующий отделом народного образования — крупный партийный работник — Смирнов. Увидев такую сцену, он ужаснулся, решил, что это полный разврат и Варю уволили. Я же продолжала служить в Электротехнической академии.

В это время нам была некоторая помощь, посылки из „Ара“ посылали маме, как вдове писателя. Америка снабжала русскую интеллигенцию белой мукой, сахарным песком, какао, смальцем. В это же время мы с Надей поступили в Педагогический техникум, там читали лекции: П. А. Флоренский по математике, Иорданский по внешкольному образованию, Наталья Дмитриевна Шаховская * — по истории края, по библиотечному делу — Попов.

Наталья Дмитриевна Шаховская была женой Михаила Владимировича Шика. Познакомились мы с ними в Троице-Сергиевом посаде в 1920 или в 1921 году. С ними жил маленький сын Сережа и сестра Наталии Дмитриевны — Анна Дмитриевна Шаховская. Жили они на Березовом бульваре рядом с нашей Полевой улицей, и я там часто бывала, особенно после смерти мамы. У них часто бывал Сергей Павлович Мансуров с женой Марией Федоровной. Домик был деревянный, маленький, уютный, из трех-четырех комнат с кухонькой. Они его арендовали. К ним еще приходила старушка-поэтесса — Варвара Григорьевна Мирович. Она очень любила эту семью и занималась с Сережей. Михаил Владимирович Шик поступил вскоре в музей и работал там вместе со мной, а когда в 1929 году произошла смена руководства Троице-Сергиевского художественного музея, М.В.

---

* У нее была написана работа: „В монастырской вотчине XIV—XVII вв. (Св. Сергий и его хозяйство)“.

ушел оттуда и стал заниматься переводами. Наталья Дмитриевна одно время работала в Третьяковской галерее экскурсоводом-лектором по живописи 19 века. Потом у нее заболело серьезно горло и она перешла на литературную работу, писала книги для юношества. Она написала книгу о Фарадее, об Амундсене, которые имели успех и быстро разошлись, но не переиздавались до 1968 г., когда была вновь выпущена книга о Фарадее под другим заголовком и с некоторыми неудачными, на мой взгляд, сокращениями. Летом у них живала мать Михаила Владимировича — Гизелла Яковлевна. Она им помогала материально, так как жить им было очень трудно. Но они никогда не унывали, никогда не жаловались, особенно Наталья Дмитриевна. она была полна энергии и доброжелательства к людям. Такая же кроткая, смирная и скромная была Анна Дмитриевна Шаховская. Она жила то с матерью в Москве, то у Шиков, ездила в Дмитров на работу в краеведческий музей.

Михаил Владимирович был крещенный еврей, отличался глубокой религиозностью, но это была религиозность не отвлеченная, а деятельная, всегда направленная на помощь людям. Семья их увеличилась — родилась сначала дочь Маша, потом сын Митя. В это время Михаил Владимирович стал священником по благословению митрополита Петра. Сначала его посвятили в диаконы в Москве, — на этом посвящении я присутствовала. Священником он впоследствии служил в Соломеной сторожке, в Москве. Тогда у них было уже пять человек детей. В 1937 году его арестовали и сослали. Наталья Дмитриевна осталась с детьми жить в Малоярославце, где им кто-то отдал долг и они смогли купить домик. Я их потеряла из виду, так как жизнь моя была тяжелая, ездить куда-нибудь из Загорска я не имела средств. Но я знала о них от Анны Дмитриевны, которая жила с матерью на Зубовском бульваре в Москве. Одно лето, когда я очень нуждалась, жила у них на даче, помогала по хозяйству, гуляла с детьми. В Малоярославце я была у них только раз вечером. Знаю только, что Наталья Дмитриевна ездила в 1939 году к Михаилу Владимировичу в ссылку в Казахстан, и очен была рада, что виделась с ним. Через год М. В. скончался, о чем им сообщили. В 1942 году, когда я их совсем потеряла из виду, я узнала, что Наталья Дмитриевна сильно заболела в Малоярославце, так как при наступлении немцев к Малоярославцу они бежали в какую-то ближайшую деревушку и жили в очень стесненных

обстоятельствах. Ее привезли в Москву в больницу, где она и умерла в мучениях от туберкулеза горла. На похоронах ее я не была. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище, недалеко от церкви. Дети остались с бабушкой, Анной Николаевной Шаховской, и тетушкой — Анной Дмитриевной Шаховской. Она их воспитала. Дети Шиков все живы, получили высшее образование и трудятся. Глубокий старик — отец Натальи Дмитриевны, — был арестован во время войны в 1942 году, сослан и погиб в ссылке. У него была серьезная, интересная работа о Чаадаеве. Его жена, Анна Николаевна Шаховская, умерла после войны.

Шаховской посмертно был реабилитирован.

* * *

Друзьями Василия Васильевича Розанова я считаю П. А. Флоренского, который жил с семьей в Сергиевом посаде, и Сергея Алексеевича Цветкова, который жил в Москве. Сергей Алексеевич Цветков уже после смерти отца моего, в 1922 году женился на Зое Михайловне. У них была дочка Ира, которая родилась еще до смерти моей мамы. Когда моя мама умерла, они принимали участие в ее похоронах. Зоя Михайловна выбрала место для могилы. Жили они тогда трудно. Зоя Михайловна только начала изучать английский язык, а впоследствии стала известным профессором, автором учебников по английскому языку.

Когда я лежала в больнице в 1923 году и мне делали операцию, она, несмотря на то что была замучена жизнью, навещала меня, приносила мне вкусную еду. Они жили тогда неподалеку от Преображенской заставы.

С. А. Цветков издал рукопись Одоевского в 1913 году — „Русские ночи". Он был большой знаток русской литературы. Папа всегда считал его очень умным человеком. Он писал в „Опавших листьях" — „кого считаю умней себя, так это Флоренского и Цветкова". Сергей Алексеевич очень тонко умел подмечать разные стороны жизни, чувствовал маленьких людей, умел изображать их — у него был артистический дар и он в молодости, как сам мне рассказывал, играл на сцене в любительских спектаклях. Он был из Тифлиса. Знания его были огромны. Где, что, когда и при каких обстоятельствах было написано — он все знал. Память у него была замечательная. Но здоровье у него было плохое, и поэтому он был в жизни вялый. В начале двадцатых годов он работал в какой-

то научной библиотеке, затем ушел и всю жизнь был на пенсии. К тому времени у него уже была большая семья — трое девочек.

Я всегда приезжала в Москву из Загорска, останавливалась у них. Зоя Михайловна была на работе, я ее мало видела, а больше разговаривала с Сергеем Алексеевичем. Он мне советовал какие книги читать. Он помог нам сдать архив отца Бонч-Бруевичу в Литературный музей. Тогда же были сданы 12 больших папок с вырезками статей папы из „Нового времени". Сохранились ли они — не знаю. Жила я у них одно время, году в 1935, месяца четыре, — я не могла устроиться на работу, они меня взяли к себе.

Такими же близкими, как Цветковы, были мне Воскресенские, семья доктора Воскресенского. Жили они при Сокольнической больнице. Я у них тоже часто жила, гуляла с их детьми, они мне всячески помогали. Александр Дмитриевич Воскресенский был известный в Москве детский врач, одно время был заведующим больницей. Затем его, неизвестно за что, арестовали и он был в трудовых лагерях на Беломорканале. Через четыре года его вернули и он опять работал при больнице. Умер он девяносто одного года, почти до последнего времени работая консультантом. Похоронен он на Немецком кладбище, там же, где его родственники. Был он домосед, немножко с чудачеством, с ярким живым языком, по характеру — бытовик, очень любил Лескова. Был истинно русский человек, любил все русское, был большой патриот.

Жена его по характеру была полной противоположностью своему мужу. Очень живая, общительная, предприимчивая, знает 8 языков, по-французски говорит лучше, чем по-русски. В одном муж и жена сходились — они были очень отзывчивы к чужому горю и всем старались помочь. Замечательно чувствовала искусство Лидия Александровна, все красивое, интересное она стремилась выявить в жизни. Собрала прекрасную библиотеку по искусству. Дети ее сейчас уже все работают в разных областях науки. Их семья была очень близка с семьей Фаворских, как родные.

Я же Фаворских знала издали, больше через своих друзей — Флоренских и Воскресенских. Помню только, как Владимир Андреевич Фаворский случайно встретился со мной на посмертной выставке моей сестры Нади, устроенной в доме литераторов в 1957 году в марте месяце. Мы вместе ходили.

Ему очень понравились Надины иллюстрации к „Грозе“ — Кабаниха, и Кай в „Снежной королеве“.

Еще две выставки Надиных картин в Москве были устроены в Центральном доме работников искусства в мае 1959 года и в музее Достоевского зимой 1961 года.

Лидия Александровна Воскресенская до сих пор мой самый близкий и дорогой друг, так же как и ее дочь Ника Александровна.

В Петербурге близкими друзьями отца были Евгений Павлович Иванов и Валентин Александрович Тернавцев. Последний был крестным отцом моей сестры Нади и очень любил ее. Он бывал у нас днем, бывал и воскресными вечерами. Он принимал большое участие в Религиозно-философских собраниях. З. Н. Гиппиус отзывалась о нем как об очень умном и интересном ораторе, нашедшем какой-то новый, особый путь понимания Нового Завета, отличный от Розанова и Флоренского. Впоследствии он писал работу „Толкование на Апокалипсис“, говорили, что это очень интересная работа, но я не пыталась о ней узнать, так как тема эта была мне чужда. Дочь его отдала черновик в Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина, а подлинник пропал.

Жена Тернавцева, Мария Адамовна, у нас бывала редко, и мы у них редко бывали. Он был очень красивый, статный человек, веселый, похожий на итальянца. У них было трое сыновей и две дочери. Старший и младший сыновья погибли во время первой мировой войны, второй сын умер после революции от туберкулеза. Ирина Валентиновна была тогда замужем за сыном литератора Щеголева, а в настоящее время замужем за художником Альтманом. Приезжала она ко мне в гости до войны с Саррой Лебедевой, скульптором, и мы вместе бродили по закоулкам Лавры.

Дети Валентина Александровича, Муся и Ирина, приходили к нам, детьми, играть. Муся вспоминала, как я им читала Гоголя „Вий“ и „Страшную месть“. Так ей запомнилось это чтение, она это вспомнила, когда меня увидела в последний раз в гостях у сестры моей Нади. Это было за несколько месяцев до ее, Муси, трагической кончины.

* * *

Учась в Педагогическом техникуме, Надя написала сочинение о значении монастыря Троице-Сергиевой Лавры, которое Наталья Дмитриевна отметила, как очень хорошую и

вдумчивую работу. Она о ней вспоминала много лет спустя. В это же время Надя с Варей поступили в театральную студию Бойко, которая была в стиле театра Мейерхольда. Надя с Варей очень увлекались этим театром, и Надя, помню, блестяще играла роль принцессы в „Шахерезаде".

В это же время Надя решила выйти замуж за студента Электротехнической академии — Александра Степановича Верещагина. Хотя мы жили очень трудно, я очень горевала, так как о нем ходили неважные слухи, что он плохо жил со своей первой женой, — она уже умерла, и что у него плохое здоровье. Я умоляла ее не выходить замуж, но она не послушалась. Вышла замуж гражданским браком и переехала к нему в общежитие. Надя ушла из детской библиотеки, и муж устроил ее работать в магазин при академии, где продавали канцелярские принадлежности.

В это время мама начала еще сильнее болеть. Обнаружилась болезнь печени, нужен был белый хлеб, а его не было. Была одна картошка, постное масло, сахар и черный хлеб, который выдавался по карточкам, да изредка посылки из „Ара".

В конце 1922 года стали поговаривать о переводе Электротехнической академии в Ленинград, но я не могла ехать с больной матерью, а квартир служащим не предоставляли.

Верещагины уехали в Ленинград в начале 1923 года вместе с академией. Я лишилась места. Варя тоже не работала. Мама получала крошечную пенсию за папу — 13 рублей в месяц,— по его прежней службе еще в Государственном контроле. Посылки из „Ара" к тому времени прекратились. Положение было очень тяжелое. В это время мама уже совсем слегла, ее устроили в бывшую земскую больницу, где главным врачом был наш друг — Николай Александрович Королев, где прежде лежала сестра Аля.

Врач определил мамину болезнь: камни в печени. Боли были ужасные, она не могла лежать совсем в одном положении, каждые пять минут надо было ее переворачивать. Недели через три выяснилось, что мама совсем безнадежно больна, что вылечить ее уже нельзя. Сестры медицинские выбивались из сил, такие страшные боли были. За ней ухаживала знакомая — Мария Александровна Храмцова и я, а днем приходилось мне еще ходить на работу, так как канцелярия сдавала дела и работников еще не отпускали со службы.

Когда мама так заболела, нас чаще стал навещать наш друг Сергей Павлович Мансуров с женой Марией Федоровной. Во время пребывания в больнице мама просила позвать его, и он часто приходил к ней. Во время дождей там была грязь непролазная; больница находилась на окраине города, но мама звала его, прося поддержать ее падающий дух; и он шел и утешал ее.

Дважды, по его просьбе, в больницу приходил о. Досифей, монах Зосимовой пустыни, чтобы исповедовать и причастить маму. Тогда еще в больницах допускались священники причащать больных, если они перед смертью того желали. Перед кончиной моей мамы Сергей Павлович приложил все старания и все свое духовное усердие, чтобы убедить ее простить своего врага — квартирантку, которая своей говорливостью и назойливостью сильно докучала матери, и только тогда Сергей Павлович успокоился, когда мама сказала — „прощаю". Сергей Павлович присутствовал при последних ее минутах. Помню, как снял с руки свое любимое синенькое колечко, на котором были вырезаны слова молитвы преп. Серафима, надел маме на руку. Помню, как она обрадовалась и вся просияла. Смерть ее была замечательная по мужеству и религиозной осознанности. Впервые я видела такую величавую картину. Это была кончина праведницы. Она до последней минуты все крестилась. Взор был любящий, глубокий. Умерла в полном сознании.

Первая панихида по ней была отслужена о. Павлом Флоренским в старинной, уютной Пятницкой церкви. Затем вечером „Парастас" служил духовник матери — игумен Ипполит (бывший духовник студентов Духовной академии, игумен прозорливый, как уверял о. Павел Флоренский, рассказывая о нем удивительные случаи). Мама его очень любила.

Когда мама умирала, дали телеграмму сестре Наде в Ленинград. Она приехала с мужем, но мать в живых уже не застала. Ее ждали на отпевание, и она только к этому времени и поспела. Обедня была накануне отслужена игуменом Михеем. Присутствовали: Цветков С. А., Мансуровы, потом они уехали в Москву на день памяти старца отца Алексея Мечева.

В день смерти матери я помню, что ушла ночевать к Мансуровым, было мне тяжело одной в большой квартире.

Варя так испугалась маминой смерти, что убежала из дому, — наверное, к своим друзьям — Королевым.

По указанию Сергея Павловича и Зои Михайловны Цветковой место для могилы матери мы выбрали на Вознесенском кладбище; Черниговский скит был уже закрыт в то время, как монастырь, и там уже никого не хоронили. До могилы мать провожал игумен Михей; могила находилась между тремя высокими березками и оттуда открывался красивый вид на Черниговский монастырь, если отойти на несколько шагов. Мать умерла 15 июля 1923 года.

До войны 1941 года я летом ходила на могилу к матери. Там стоял деревянный крест, который Сергей Павлович Мансуров собственноручно, вместе с Нюрой Г-вой, поставили на могилу; у нас не было денег, чтобы нанять людей и привезти крест.

Вознесенское кладбище сохранялось до войны 1941 года, а потом там был построен завод и кладбище уничтожено. Мне очень больно об этом вспоминать. Я маму больше всех на свете любила, и утрата ее могилы для меня очень тяжела.

ГЛАВА VIII

МОЯ ЖИЗНЬ В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ. СЕСТРЫ. ДРУЗЬЯ.

После смерти матери наше учреждение было эвакуировано в Ленинград и с 1-го октября 1923 года я осталась без работы. Материально положение было очень трудное, потому что Варя и я не могли устроиться на работу. Мы остались с Варей одни в квартире. Вставал вопрос, — как жить, что делать с квартирой? Она требовала больших денег и была нам, в сущности, не нужна. Мы могли сдать комнаты от себя, но я не хотела пускать знакомых и подала заявление в правление, чтобы нам оставили две комнаты. В задней комнате у нас жила жилица, Евдокия Афанасьевна Мамаева, служащая магазина. Варе дали большую комнату, где жила мама, я осталась в своей. Все эти волнения тяжело отразились на мне, я заболела, у меня определили полиартрит, и доктор Королев устроил меня в больницу в Ховрино; я бросила квартиру в полном неведении, что дальше будет, Варя оставалась одна и была очень непрактична. После моего отъезда она долго не могла найти работу, но это выяснилось по моем возвращении из больницы.

В первый раз в жизни я была в большой настоящей больнице и ее обстановка произвела на меня удручающее впечатление. Варя ничего не писала ни о себе, ни о квартире. У меня нашли кроме полиартрита еще и аппендицит; надо было ехать срочно в другую больницу — делать операцию.

В эту больницу прислал мне Сергей Павлович утешительное письмо, а затем и сам приехал, а также привез мне мыло, сахар, белых сухарей и книгу Иоанна Кронштадского „Моя жизнь во Христе“, которая оказала на меня громадное влияние и утешала меня.

Надежда Григорьевна Чулкова, узнав о моем бедственном положении, привезла мне из дому теплое мое пальто, яблоки

от Мансурова. Сообщила она мне и печальное известие, что Сергей Павлович Мансуров заболел туберкулезом и поэтому некому ко мне приехать; потом приехал еще Михаил Владимирович Шик, дал мне немного денег, чтобы доехать до Москвы, был нэп, деньги падали: меня устроили в больницу в Сокольниках знакомые Воскресенские, где мне и делали операцию.

За это время от Нади я тоже не получала известий; не знала даже ее адреса. Потом выяснилось, что сестра жила очень тяжело материально, муж был студентом, отец мужа и его сестра жили с ними. Варя тоже не писала, потому что не работала тогда, но потом она устроилась в в-скую часть. В двух больницах я пролежала почти год.

Когда я вернулась домой, то в это время приехала с Электротехнической академией из Ленинграда в Москву моя сестра Надя. Им дали в Москве квартиру в убогом, деревянном флигеле на окраине города. Надя приехала тяжело больной, ей нужна была также срочная операция аппендицита, и там же, где и мне, в Сокольниках, ей делали операцию. Она прошла благополучно, но Надя была очень слаба и поехала в Сергиев Посад к друзьям Королевым, отдохнуть. Затем она вернулась к мужу и я ее изредка навещала.

У нас с этого времени изменились с ней отношения. Я была очень религиозно настроена после смерти матери, а сестра Надя, вышедшая замуж за военного, попала в среду, чуждую мне и нашей семье. Ее окружали офицерские жены, кружили ей голову нарядами, и наши пути незаметно расходились. Я бывала у них редко, нам было не о чем говорить. Но сестра, по своей доброте, делилась со мной военным пайком — это меня очень трогало. Большим она ничем не могла мне помочь, так как жалование у ее мужа было тогда небольшое, да еще с ними жил свекор и младшая сестренка мужа. Свекор хорошо относился ко мне, но характер Нади ему не нравился, он находил ее недостаточно положительной, не подходящей для своего сына. Отношения Нади со свекром иногда обострялись из-за пустяков. Все это постепенно привело к разрыву и Надя в 1937 году рассталась с мужем, срочно уехав к своей подруге детства Лидии Доментьевне Хохловой (в замужестве Барановой). В то время Лидия Доментьевна жила с отцом и матерью в Ленинграде, с двумя сыновьями и приемным братом.

В двадцатые годы все еще трудно было устроиться на работу. Варя уехала в Одессу, думала там устроиться, но скоро

вернулась домой. Был нэп, мы ничего не могли купить, так как не было денег и мы были без работы. Нас приняли на биржу труда и мы получали 6 рублей в месяц. Кроме того нам грозила высылка из Загорска, если мы скоро не устроимся на работу. Помню, я ездила в Москву сдавать экзамены на машинистку 1-го разряда на московской бирже труда, чтобы поскорее поступить на работу. Помню на улице толпы сидящих безработных. Экзамен я сдала, но на работу все же не могла устроиться, как и Варя. Так мы промучились до 1925 года. Александрова купила мне за 25 рублей старую машинку и мы с Варей сдельно работали для А. Д. Шаховской — работы по краеведению, и для начинающего писателя Алексея Венедиктовича Кожевникова. Работа всегда была срочная, работали по ночам. Сестра Варя жила тогда со мной в одной комнате.

В 1925 году я, наконец, устроилась работать в Историко-художественный музей и проработала там до 1928 года, то курьером, то машинистской, какая была должность вакантной в то время.

В музее в то время, в 1928 году, работали, Олсуфьев, Шик. У Олсуфьевых я часто бывала и мы очень подружились с Софьей Владимировной.

Делопроизводителем у меня была очень милая старушка, бывшая жительница старинного города Вязьмы. В один прекрасный день прихожу на работу и говорят — все арестованы. Олсуфьев не был арестован, так как его не нашли. У старушки-делопроизводительницы был сын в Москве, какой-то важный, ответственный партийный работник. Всю ночь у Софьи Петровны Федоровой был обыск, но ничего, конечно, не нашли, кроме бесконечных банок с вареньем.

Как потом выяснилось, вся история была затеяна, как следствие выстрела в одного из коммунистов, возглавлявшего атеистическую пропаганду в Загорске.

Обвинение было самое нелепое — что в этого партийного работника стрелял граф Олсуфьев, который жил неподалеку.

Это был только предлог для ареста монахов-сторожей при музее. Рано утром взволнованный приехал сын, увез мать в Москву, делопроизводство передали мне. Во главе музея стал Александр Николаевич Свирин, затем Дервиз Владимир Андреевич. Приезжала комиссия за комиссией из Москвы, расследовать это дело, кельи монахов были разграблены, монахи

сосланы, установлен милицейский пост. Олсуфьева не нашли, хотя усердно его искали.

Как выяснилось по расследованию, стреляла в своего мужа из ревности жена, и на Олсуфьева стали возводить другие обвинения — что он присвоил музейные ценности, хотя у него были свои.

В скором времени Олсуфьев стал работать в реставрационных мастерских в Москве, в качестве эксперта и крупного специалиста по древним иконам до 1934 г., после чего он перешел работать в Третьяковскую галерею. Мне надоели вопросы комиссии и я решила уйти с этой работы. Долго не могла найти другой работы. Вновь стала на учет на биржу по безработице, потом получила временную инвалидность по третьей группе.

В 1929 году, ранней весной, из Вереи пришла горестная весть о кончине Сергея Павловича Мансурова от туберкулеза. Сергей Павлович уже два года был священником, сначала в Оносиной пустыни, а когда ее закрыли, рядовым священником на приходе в г. Верее. Я уехала на похороны. Похороны были замечательные — хоронил его епископ Серафим Звездинский и отец Сергей Мечев.

1929 год очень памятен в моей жизни, хотя я жила материально очень плохо, но это был самый какой-то тихий и умиротворенный год в моей жизни, и я всегда радостно вспоминаю, как будто и дорогой, ушедший в другой мир, Сергей Павлович Мансуров был душой всегда со мною.

Летом 1929 года Михаил Михайлович Пришвин с женой Евфросиньей Павловной просили меня посторожить их дом, так как сестра ее боялась оставаться одна, а они уехали в Москву. Лето я прожила у них. В 1930 году мне пришлось все же поступить на военный завод машинисткой. Вставала в 5 часов утра и обратно возвращалась около 9 часов вечера. Ехать надо было поездом. По ночам нас иногда оставляли работать на машинке, спали мы на столах, и обедать ходили по страшной грязи, осенью, в столовую ИТР. Жалование нам иногда не платили по несколько месяцев. Я сильно стала болеть желудком от недоедания и страшного переутомления. Мне так хотелось спать, что я засыпала на стуле во время работы, выбегала, чтобы намочить голову холодной водой, чтобы проснуться и продолжать работу. Однажды, помню, в вагоне, я упала со скамьи и разбила лицо в кровь. Часто

вспоминала чеховский рассказ „Спать хочется“. О, как тогда я это понимала!

Машинисток тогда было мало, и я с трудом сумела уволиться с завода в 1936 году и поступить работать в Педагогический техникум в Загорске тоже машинисткой. Там было довольно трудно работать, большие требования, нервно-больная заведующая канцелярией, малая оплата труда и постоянные комиссии из Москвы с проверкой грамотности. Был год особых строгостей в орфографии. Через год я уволилась.

* * *

В одном из писем Вари, адресованном ко мне, к Наде-ли — не помню, — она жалуется на то, что мы с ней мало разговариваем, мало что объясняем. А говорим только: „это плохо, это хорошо“. Например, говорим: „Тарасова в „Анне Карениной“ плохо играет“, а почему, не объясняем. По воскресеньям, я помню, это было в 1936 году, Варя приходила ко мне, — она жила тогда на частной квартире, — рано утром, с тетрадью своих стихов. Стихи ее были для меня мучительны. Она находилась под влиянием Игоря Северянина, поэзия которого мне казалась очень пошлой и глупой. Кроме того, я была сама так утомлена после недельной поездки на завод, что часто у меня от слабости и переутомления непроизвольно закрывались глаза. К довершению всех бед дверь в кухне была заперта. Там по воскресеньям мылись и мне невозможно было с сестрой напиться чаю. От этих стихов в стиле Игоря Северянина: „Ты в карете, а я в ландо...“, у меня кружилась голова от измученности, голода и переутомления. Я была очень раздражена, просила Варю: „Приходи хоть днем“, а она говорила: „Мне некогда, сейчас я пришла в город и по дороге зашла к тебе“. Так продолжалось долгое время. Иногда я к ней заходила. Тут было несколько полегче, можно было с ней что-нибудь поговорить, обсудить и вникнуть в ее дела. Но тут возникла другая трудность. Сердце мое сжималось от жалости, — Варя жила в частном доме, в комнате, вернее в чулане, с одним окном, без печи (отоплялась она из общего коридора) — было сыро и холодно, а летом душно. В комнате стояла одна кровать, маленький столик и табурет. На столике стояли хорошенькие старинные безделушки, оставшиеся после смерти ее мужа, красивые бусы висели на стене и какие-то декадентские рисунки. На полочке стояли томики стихов Блока, Мандельштама, Гумилева, Игоря Северянина и других современных поэтов. Хозяева тяготились ею и старались ее

выселить. Но она кое-как держала за собой эту комнату. Приходила ко мне жаловаться. А что я могла сделать? Ведь она, уехав к сестре Наде жить в Москву, в надежде устроиться актрисой, бросила в нашей квартире комнату, которую и забрало домоуправление, хотя я пыталась ее сохранить для Вари, платя за нее почти год из своего мизерного жалования. Впоследствии, когда она вернулась из Москвы, я пыталась с ней жить вдвоем в своей комнате. Тесно было ужасно. Второй кровати негде было поставить. То она, то я спали на сундуке. К довершению всего Варя вздумала снять мои иконы и повесила изображения каких-то балерин. Тут уже у меня лопнуло терпение, я просила ее уехать от меня, а подруга ее нашла для нее вот этот чулан.

В 1935 году вспоминается и нелепое замужество Вари. Ей вздумалось выйти замуж за писателя Гордина. Это был пожилой человек, некогда красивый, с густой кудрявой шевелюрой, но совсем больной, у него был инфаркт и он только что поправился, когда расписался с сестрой Варей и она приняла его фамилию.

Работать он не мог, Варя тоже не работала, у него сохранились кое-какие старинные безделушки и он их продавал и на это они кое-как перебивались. Жили на Красюковке, на частной квартире сначала у одной хозяйки, а потом у другой — в холоде и голоде. Первые дни они приходили ко мне обедать, но потом я не имела возможности им помогать, так как работала на военном заводе и приезжала домой поздно, и тоже голодная и измученная до последней степени. Помню, как-то встретила их на улице, смотрю, у Вари из кармана торчит картошка; купила картошку и набила карманы пальто. Оба они были такие неприспособленные! Все их жалели и не понимали, что это за брак. Варя в то время была еще молодой и хорошенькой блондинкой, а он совсем старик. Но Варе нравилось, что он писатель, что у него волосы до плеч и не похож на остальных загорских жителей. Он любил нашего отца, с любовью говорил о нем, рассказывал при первом свидании со мной, как он был в Саровской пустыни, говорил с благоговением и благожелательством о Церкви.

Что было делать с такими детьми в наших суровых условиях! Я много плакала от этого брака и не знала, что же делать.

Однажды я была у своей знакомой на именинах, вдруг приходят за мной, говорят, что Гордин внезапно скончался. Я побежала к сестре на Красюковку. С ним случился удар, и он

через четверть часа скончался. Варя плакала... а мне предстояло его хоронить. Но как его хоронить, есть ли документы у него при себе? Денег ни копейки, надо занимать. Побежали к Пришвиным, спасибо Михаил Михайлович, как сейчас помню, дал 50 рублей. В какой церкви хоронили — не помню. Варя просила похоронить его церковно. В церкви было много знакомых его дам. Я плакала, они недоумевали, думали, что я его жена. Варя же выглядела совсем девочкой. Похоронили его на Вознесенском кладбище, близ могилы мамы, поставили крест. Когда я ходила к маме, то ходила и к нему на могилу. Во время войны 1941 года все кладбище срыли и могилы уничтожили. Так кончилась эта печальная эпопея.

В 1937 году, наконец, мы сумели продать остальные рукописи своего отца в Государственный литературный музей. Мы получили 25000 рублей, разделили на три части, и первый раз вздохнули свободно от гнетущей нужды. У нас ничего совсем не было, занялись хозяйством, тут очень заболела сестра Варя, долго жила у Нади и лечилась от острого ревматизма. У меня получилось сильное переутомление от шестигодичной работы на заводе и я перешла на инвалидность 2-й группы.

В этом же году Надя разошлась с мужем и уехала вновь в Ленинград к своей подруге детства — Хохловой. Для меня это был ужасный удар. Надя была в это время художницей при киностудии.

Сестра Варя в это время уже не жила со мной, так как потеряла свою комнату, пока жила у Нади в Москве, и устроилась в Загорске на частной квартире.

В нашей квартире теперь уже было много посторонних жильцов.

В начале 1938 года встретилась я однажды в Третьяковской галерее с Ю. А. Олсуфьевым, который там работал. Он повел меня смотреть портрет моего отца, написанный художником Бакстом.

Мы с ним долго стояли перед портретом, потом Ю. А. спросил меня: „Что Вы находите самым интересным в этом портрете?“ Я сказала, что портрет удивительно хорошо написан, а Ю. А. живо воскликнул: „Самое удивительное — это глаза! Какие живые, умные они!“ *

---

* Портрет этот писал Бакст в кабинете отца. И я помню эти сеансы. Это было в 1905 или в 1906 году.

В том же году, после того, как Ю. А. Олсуфьев был приглашен на составление сметы по восстановлению архитектурных памятников Троице-Сергиевой Лавры, он был арестован местными властями в Косино, по Казанской дороге, где он жил и откуда ездил каждый день в Москву в Третьяковскую галерею.

Его посадили в г. Люберцы в местную тюрьму с уголовными преступниками. Там он заболел. Жена его Софья Владимировна, делала ему передачи, брала белье от него в стирку, узнавала о нем, о его здоровье. Затем сведения о нем прекратились, она уже ничего не могла узнать о нем и не знала где его искать.

Она продолжала работать в музее изящных искусств, где она когда-то реставрировала древнеегипетские саркофаги, а затем перешла в Кусковский музей и реставрировала фарфор.

В 1938 году я поступила работать в Москве в Толстовский музей, сначала сторожем, а потом машинисткой. В то время часто из музея изящных искусств заходила ко мне в Толстовский музей Софья Владимировна Олсуфьева и мы ездили к ней на дачу в Косино. Она тосковала по мужу, не зная, за что он взят и где его искать. Она ездила во многие города, но безуспешно. По ночам я слышала, как она горько плакала, но днем никогда не плакала, стараясь скрыть свое горе.

Каждый день я ездила из Загорска в Москву на работу, а одно время, летом, сторожила квартиру в Москве и там заболела моноартритом. Меня с трудом устроили в Москве в 4-ю городскую больницу. Когда я лежала в больнице, началась финская война. Это было уже в 1939 году. Меня навещали кое-кто из знакомых: Софья Владимировна Олсуфьева и доктор Михаил Михайлович Мелентьев. Сестра Варя работала в воинской части машинисткой в Загорске, а Надя жила в Ленинграде с Хохловыми и работала художницей при киностудии.

Пролежала я четыре месяца в больнице и меня выписали еще больной совсем, так как больницу отдавали под лазарет для раненых. С больничной няней я доехала до дому и лежала еще с месяц совсем одна, почти без всякой помощи. Затем Софья Владимировна Олсуфьева прислала в Загорск ко мне домработницу свою с продуктами. Через некоторое время она меня взяла к себе на месяц в Косино и заботилась обо мне. Вскоре я стала по-прежнему ездить каждый день из Загорска в Москву. Война с Финляндией кончилась, но поезда ходили

плохо, а указ за опоздание на службу был суров, — могли не выдать справку на станции и легко было попасть в тюрьму. Вот тогда-то Софья Андреевна Толстая, директор Толстовского музея сжалилась надо мной и взяла меня к себе на квартиру в Померанцев переулок. Тут я познакомилась и сдружилась очень с научным сотрудником музея — Татьяной Михайловной Некрасовой.

Софья Андреевна Толстая, во втором браке за поэтом Сергеем Есениным, была внучкой Льва Николаевича Толстого, от сына его Андрея. Сам Андрей Львович находился в то время за границей, разойдясь со своей женой и оставив ее на попечение дочери. Когда, по приглашению Софьи Андреевны, я пришла к ним в квартиру временно жить, я застала там одну Софью Андреевну со старой няней Марфушей. Мать ее тогда находилась в больнице, а в передней комнате их квартиры жила старушка, их родственница, фамилии ее я не помню.

Квартира Софьи Андреевны была большая, темная, какая-то мрачная и неуютная. Вещи были громоздкие, мало нарядные, на стенах висели картины масляной краски, очень посредственные. Помню картину — въезд в Ясную Поляну, зимний пейзаж. Почему-то она мне нравилась, хотя и была написана плохо. Эта картина находилась над диваном, в столовой, где я приютилась. Комната Софьи Андреевны была в отдаленном конце квартиры, я никогда там не была, да она никого из посторонних людей туда не пускала. У нее бывала только одна приятельница — Евгения Николаевна Чеботаревская, старшая научная сотрудница Толстовского музея. Жила же Евгения Николаевна со своей дочерью на отдельной квартире и только навещала Софью Андреевну.

Софья Андреевна Толстая в то время, когда я с ней познакомилась, уже была серьезно больна сердцем и часто пропускала службу. Сотрудники не понимали, что у нее серьезная болезнь и за глаза, при мне, упрекали ее за эти пропуски, и за неровный ее характер. Она умела быть и обворожительна, и несколько неприятно-сентиментальна, и надменно резка. Я же всегда за нее заступалась, мне было ее ужасно жаль. Я понимала, что передо мной несчастная и больная женщина, гордо скрывавшая свою личную драму и тяжелую болезнь. Она чувствовала мою привязанность к ней и жалость, и отвечала мне добрым расположением. Так странно прожили мы с ней почти год вместе в течение 1941—1942 гг. Когда в 1942 году Толстовский музей эвакуировался в Томск, а Софья

Андреевна уехала в Ясную Поляну, я оставалась еще некоторое время жить в ее квартире, по ее просьбе, а также приводила в порядок оставленные документы музея, так как я тогда была временно заведующей канцелярией. Оттуда, из Ясной Поляны, она писала мне очень милые письма, уговаривая меня остаться в их квартире. Письма ее ко мне сохранились и были переданы мною в Государственный литературный музей.

Но я боялась оставаться там, во-первых, потому что опасалась потерять свою комнату в Загорске, и, кроме того, я не хотела нести ответственности за ее богатую брошенную квартиру. Со мною жила Марфуша, но она такая старенькая, могла тоже неожиданно умереть. Я отказалась жить в ее квартире, уволилась из музея и уехала домой.

Когда я работала в Толстовском музее в 1941 году, ценности из Загорского музея, а также рака с мощами пр.Сергия были увезены в Сибирь.

21 апреля 1946 года ценности были возвращены в музей, а рака была установлена на прежнем месте в Троицком соборе. В это же время была открыта вновь Троице-Сергиева Лавра и передана в ведение Московской Патриархии.

Софья Андреевна вернулась в Москву из Ясной Поляны до прихода туда немцев. Имущество Толстовского музея было возвращено из Томска. Но музей Яснополянский был очень разрушен, так как там были немцы, и его приходилось восстанавливать. А музей на Кропоткинской улице тоже пострадал от бомбежек, и тоже надо было восстанавливать чудесные лепные украшения потолка здания XVIII века.

Софья Андреевна вернулась к своим обязанностям директора музея и очень много вложила труда для восстановления музея, хотя была очень уже больная. После войны я изредка бывала у нее в квартире при музее-усадьбе, что на улице Льва Толстого, где С. А. тогда жила со своей больной матерью и Марфушей. Квартирка была крошечная, в деревянном флигеле. В это время моя сестра Надя начала работать по графике и сделала иллюстрации к рассказу Л. Толстого „Люцерн". Я предложила ей переговорить с Софьей Андреевной Толстой о покупке этой картины. Надя уже тогда начала болеть, материальное ее положение было очень плохое, Софья Андреевна пошла навстречу и купила эту картину — она была помещена в музее на Крапоткинской улице. Только Наде, бедняжке, пришлось изменить ее, несколько шаржировав

английских леди, так как того требовала политическая ситуация того времени, — мы не очень ладили с Англией. Наде было очень жаль менять образ, но пришлось подчиниться обстоятельствам.

Два раза приезжала Евгения Николаевна Чеботаревская с братом своим в Загорск, но я ничем не могла ее даже угостить, такой был ужасный голод. Заходила она и на квартиру к Пришвиным, на Комсомольской улице, и купила у нее, как я помню, большие чугунные котлы, для чего-то нужные в Ясную Поляну.

Потом я долго не бывала у Софьи Андреевны Толстой-Есениной, а когда я приехала, она снова жила на Померанцевом переулке, уже совсем, совсем больная, — она уже не работала в музее. Тут я провела с ней ужасно тяжелую ночь — она была в тягостном душевном состоянии, рассказала мне очень откровенно свою биографию, не входя в подробности, и рано утром я вышла от нее, совершенно потрясенная. В то время ее матери уже не были в живых, а Марфушу отправили в деревню, так как за ней некому было ухаживать. Софья Андреевна с трудом, по объявлению, нашла какую-то „шикарную" домработницу, которую она даже стеснялась о чем-нибудь попросить.

Но нужно было кому-то ухаживать за ее любимой собакой — овчаркой, что и было поручено этой „шикарной" домработнице. Но и она долго не задержалась у Софьи Андреевны и ушла. Что было потом, я не знаю, так как уйдя от нее тогда в четыре часа утра, я больше ее никогда не видела — слишком было тяжело ее видеть. Слышала только, что она живет в Пушкино, туда приезжает ее приятельница Чеботаревская, с нею любимая собака — овчарка и имеется прислуга.

В 1957 году, быв однажды совершенно случайно в гостях у одной знакомой, я услышала, что Софья Андреевна умерла два месяца тому назад под Москвой, в Малаховке (29 июля). Ее хоронили в тот день, когда был первый международный фестиваль молодежи в Москве. Дороги все были закрыты, движение приостановлено, шли толпы молодежи с цветами и с музыкой по улицам. Накрапывал мелкий дождь. Машина с останками Софьи Андреевны Толстой-Есениной еле пробралась к станции, откуда гроб был отправлен в Ясную Поляну, а затем в местечко „Кочетово", где похоронены все ее родные. За гробом шло очень мало народу, — все были заняты празднеством, и в газете было сказано только два слова о ее смерти. Об

этой грустной картине рассказывала мне Татьяна Михайловна Некрасова. Я удивилась, что она не дала мне телеграмму о смерти Софьи Андреевны, а она сказала, что, зная, что я у нее не бываю, решила, что я не поеду на похороны. Об этом я очень потом сокрушалась.

Когда ее привезли в „Кочетово“, священник хотел отслужить панихиду, но так как гроб ее провожали сотрудники музея Толстого, то они не позволили сделать этого. Позже я узнала, что на могилах всех Толстых стоят кресты. Об этом мне рассказали сотрудники музея.

* * *

Возвращаюсь к прошлым годам. В Толстовском музее помощником директора назначен был Павел Иванович Федоров — сын Софьи Петровны, той старушки, с которой я работала когда-то в Историко-художественном музее. Она меня очень любила и одно время, когда я болела, я часто ночевала у нее. Они оба были крайне добры ко мне, и хотя у них было очень тесно, — одна комната, и я их, конечно, стесняла, но они жалели меня и звали к себе. Пока я служила в Москве, бывала я и у доктора Мелентьева, в их семье; они меня встречали с большой теплотой и сердечностью.

Работая в музее, я впервые была в Останкинском музее, который восхитил меня своим благородством и изяществом; бывала часто я и в музее изящных искусств, не отходила от полотен Рембрандта, особенно меня всегда трогала картина его „Ассур, Аман и Эсфирь“. В Третьяковской галерее восхищали залы XVIII века, а также древняя иконопись и любимый, на веки вечные, — Врубель. Вновь возобновилось мое знакомство с женой Перцова, а также бывала я у него. Он жил тогда один, ноги у него сильно болели. Он сидел за столом и все неутомимо работал, — писал. Очень был трогателен, попрежнему умен, интересно говорил и мне приятно было бывать у него. Вспоминалась молодость и его верная дружба с отцом. Спасибо его жене, что она меня отыскала в Толстовском музее и привела к мужу.

22-го июня 1941 года началась вторая мировая война. В то время я продолжала работать в Толстовском музее и жила у Софьи Андреевны Толстой. Помню очень ярко тот день — я пошла в садик, возле музея, отдохнуть перед поездкой домой. Пришла взволнованная Софья Андреевна и сказала: „По радио сейчас говорил Молотов и объявил о начале войны“.

За день или за два до начала войны, Надя приехала в отпуск в Москву, нарядно одетая, с маленьким чемоданчиком. И когда грянула война, она уже не смогла вернуться в Ленинград. Она осталась без всего и поселилась у Елены Дмитриевны Танненберг, своей московской подруги, которая жила со своей тетушкой. С трудом Надя прописалась на их площади. Надя со своей подругой работали пожарниками, сидели на крыше, и за это получали рабочий поек, а затем стали донорами. Потом Надя поступила в Мосфильм и была принята в Союз художников и начала работать как график. Работы ее были куплены Толстовским музеем, музеем Достоевского, Пушкинским домом в Ленинграде.

В день объявления войны я уехала за паспортом в Загорск. В городе уже началась паника. Первое время я по-прежнему жила у Софьи Андреевны Толстой. Помню, в первый день бомбежки в Москве, мы стояли с ней в парадном подъезде Померанцева переулка и гадали, что это уже война, или учебная стрельба — было непонятно. Но вот, зажигательные бомбы стали падать на крышу прекрасного здания XVIII века — Толстовского музея на Кропоткинской улице и мы поняли: война началась. В первую ночь сотрудники музея, дежуря на крыше, много погасили зажигательных бомб. Вскоре я уехала от Софьи Андреевны и стала ездить каждый день домой, так как боялась потерять комнату в Загорске.

Ездить было страшно, прямо над поездом кружились немецкие самолеты. Никогда я не была уверена в том, что вернусь домой. Приезжая утром в Москву, первым делом звонила по телефону и справлялась, жива ли сестра Надя, мои близкие друзья, очень болело сердце по Софье Владимировне Олсуфьевой. Она жила в Косино, а там часто бывали вражеские налеты; сидели мы с ней и в подвале, когда я туда приезжала, как сидела я в бомбоубежище в доме, где жила Софья Андреевна Толстая.

Когда летом 1941 года Толстовский музей эвакуировался в Томск, то я уволилась из музея и вернулась домой. В это время очень благородно Толстовский музей из Ясной Поляны поддержал служащих, уволенных по сокращению штатов и находившихся в бедственном положении. Они выдавали помощь продуктами голодающим бывшим сотрудникам музея в память Л. Н. Толстого.

* * *

С 1919 года мы как-то потеряли Нестерова из виду. Он у нас не бывал, хотя мы и переехали из Петрограда ближе к Москве в Троице-Сергиев посад (нынешний Загорск).

В 1938—1941 гг. я наконец познакомилась с семьей Нестеровых в Москве и стала изредка бывать в их квартире на Сивцевом Вражке. Семья Нестеровых в это время состояла из четырех человек — Михаила Васильевича, его жены — Екатерины Петровны, дочери Наталии Михайловны и сына, Алексея Михайловича, которого мне не довелось увидеть, — я знала его только по портрету работы отца. Портрет этот находился в их квартире.

В то время я работала в музее Льва Толстого и бывала у Нестеровых. Они встречали меня всегда очень тепло: Михаил Васильевич показывал мне свои картины, которые не попали в музей, говорил со мной о живописи, по моей просьбе дал мне книгу Петрова-Водкина „Эвклидово пространство" почитать, добавив, что он в ней ничего не понял. Так мне сказал Михаил Васильевич видимо, не одобряя нового направления в искусстве, которого придерживался Петров-Водкин. Но меня книга очень заинтересовала, так как я ранее читала книгу воспоминаний Петрова-Водкина о его родном городе Хлыновске и любила его еще по юным воспоминаниям своих посещений выставок „Мира искусства", где неизменно были и красные шары, детские кроватки и кирпично-красный, огненный конь Петрова-Водкина. Эти ярко очерченные и живые образы врезались в мою память и навсегда любовно связали меня с творчеством этого искреннего художника. Они до странности были мне какие-то родные и близкие.

Нестеров рассказывал мне его биографию: Петров-Водкин последнее время жил в Париже, был женат на француженке и к 1940 году его уже не было в живых.

В 1939 году моя сестра Надя жила в Ленинграде. Михаил Васильевич, бывая в Ленинграде, навещал ее и был с нею очень сердечен.

В Москве Нестеров читал с Екатериной Петровной Надины воспоминания, одобрял их и говорил, что эта ее работа подвинула его на написание своих воспоминаний. Их он и написал в 1941 году и выпустил в свет книжкой в 1942 году под названием „Давние дни (Встречи и воспоминания)".

Да, была еще одна характерная черточка у Михаила Васильевича, которую я хочу поведать: в 1939 году мы с На-

тальей Михайловной Нестеровой собирались как-то в Дом союза писателей на чествование Михаила Михайловича Пришвина. Дочь собиралась очень долго, Нестеров волновался и выговаривал ей: „Как можно так опаздывать, ведь это невежество по отношению к юбиляру и к публике". Его слова мне навсегда запомнились и когда я опаздываю куда-нибудь, я вспоминаю серьезный тон этих слов. Так Михаил Васильевич Нестеров горячо любил искусство и так внимателен был к людям и к их творчеству.

В 1941 году, когда Михаил Васильевич Нестеров получил Государственную премию, он пришел к нам в Толстовский музей пешком — „прогуляться", как он сказал. Был он уже очень старенький, опирался на палку. По залам музея провожала его директор — Софья Андреевна Толстая. Присутствовали и мы, сотрудники музея — Татьяна Михайловна Некрасова и я. Нестеров, оборачиваясь, подшучивал надо мною.

Во время войны, в 1942 году, когда я бывала у них, меня поражала твердость духа Михаила Васильевича, его полная уверенность в нашей победе над немцами. Старик был крепкий и русский до мозга костей. Любил русский народ и верил в него...

В 1942 году я видела Нестерова в последний раз в марте месяце на его квартире. Вскоре он скончался. На его похоронах была масса народу. Была и моя сестра Надежда Васильевна, а я не приехала, так как боялась большого стечения народа. Через несколько месяцев после смерти отца умер и сын его — Алексей Михайлович Нестеров, от туберкулеза легких. Екатерина Петровна тяжело пережила это двойное горе. В это время я ее изредка навещала, но было очень тяжело бывать у них без Михаила Васильевича. После смерти его я написала Екатерине Петровне письмо, которое, по ее словам, очень утешило ее и она его даже сохранила на память среди немногих писем, полученных ею в то время. Просила она меня привезти ей некоторые книги духовного содержания. Я их ей привозила и она читала их.

Прожила Екатерина Петровна до 1954 года. Сестра Надя дала мне телеграмму о ее смерти и мы вместе с нею были на похоронах. Было лето, народу собралось немного, все были на дачах. Похоронили ее рядом с Михаилом Васильевичем на Новодевичьем кладбище.

* * *

Во время войны я работала в разных рабочих цехах в г. Загорске, чтобы получать рабочий паек, но затем весной 1942 года простудилась, заболела воспалением легких и не работала, а получала пенсию 2-й категории. Заболела дистрофией и дважды лежала в бывшей земской больнице. Голод был ужасный. Целый год я жила на черном хлебе и воде.

Тогда я часто бывала у первой жены Пришвина — Евфросинии Павловны, она меня душевно согревала, устроила мне стирку белья через одну женщину, так как я была слаба, стирать сама не могла, да и мыла не было. Умная, хорошая, простая и сердечная русская женщина была Евфросиния Павловна, на таких женщинах стояла прежняя Русь. Мир ее праху, умерла она в 1953 году в марте месяце. Была я на ее скромных похоронах, провожала и гроб ее до нового кладбища, на Угличском шоссе г. Загорска. Сейчас могила ее оправлена, стоит ограда и гранитный камень, где написано, что здесь покоится Евфросинья Павловна Пришвина, но что это — первая жена писателя, с которой он путешествовал по лесам всю свою молодость и о которой много написано книг, здесь не упомянуто, а жаль, заслуживает она этого. Любила его и трудилась много.

Варя работала в военном госпитале машинисткой, получала паек и делилась со мной. Когда госпиталь эвакуировался, она не решилась ехать и устроилась на почту. Потом она поступила в воинскую часть в г. Клин, но вскоре приехала оттуда и стала жить со мной. Мне еле-еле удалось прописать ее к себе. Она поступила в канцелярию при Жакте домоуправления в качестве секретаря-машинистки.

В 1941 году осенью была арестована жившая около станции Косино Софья Владимировна Олсуфьева. Обвинение ей никакого не было предъявлено. Затем выяснилось, что ее хотели обвинить в том, что она ждала немцев. Она очень далеко была от немецкой культуры, скорее не любила немцев и боялась ужасно их прихода. Подстроено это было все окружающими ее злыми людьми, желавшими воспользоваться их имуществом. Позже я узнала, что ее направили в г. Свияжск, где она и скончалась в 1943 году. В 1956 году оба они — и Юрий Александрович, и Софья Владимировна — посмертно реабилитированы. Очень их жаль, так как это были исклю-

чительные по благородству люди, крайне нужные нашему государству в области искусства.

Однажды вечером, осенью 1942 года, часов в восемь, раздался звонок, пришли и арестовали сестру Варю. Был обыск, взяли какие-то ее стихи. Сначала она сидела в местной тюрьме, а потом ее отправили в Москву на пересыльную. В Москву проезда не было, узнать мы о ней ничего не могли. Когда она сидела с месяц в Загорске, Надя и я делали ей передачи, и она раза два посылала с оказией записочки. В конце концов она попала в Рыбинск, откуда ее освободили, но у нее не было сил вернуться, я за ней ехать не могла, так как в это время лежала в больнице. Надя работала и ее не отпустили ехать за сестрой. Потом мы узнали, что она умерла 15 июня 1943 года от дистрофии в тюремной больнице. Но об этом нам стало известно позже — в 1945 году. На допросе ей задавали такие вопросы: почему вы любите уединение? Почему вас интересуют стихи, зачем сидите дома одна?

Варя была очень экстравагантная, как-то читала в Москве модернистические стихи, в цилиндре, на каком-то литературном вечере. Думаю, что это ей повредило. Осенью 1944 года взяли и меня. Полагаю, что в связи с арестом сестры, но точно не знаю. Когда Варю арестовали я дважды лежала в больнице с дистрофией. После этого я была очень плоха и год меня продержали в тюремной больнице. Но так как ничего у меня не нашли, то и освободили 3 сентября 1945 года. Я решительно сказала, что не выйду из тюрьмы, пока мне не отдадут Библию, Евангелие и не вернут комнату. Мне все отдали и вежливо предоставили ту же комнату, где я и по сей день живу.

На Библии была надпись отца: „Сей экземпляр Библии — взят мной со „столика в учительской комнате“ Елецкой гимназии в 1890 или 1891: („Крещение Руси“) для справок при писании „Место христианства в истории“ и забыл у себя, ибо ее никто не брал и не читал.

С тех пор она всегда со мною! И я все ее читал и никогда, даже на даче, с нею не расставался.

Дарю ее старшей Танюше на память, и да поддержит она ее в горестные минуты жизни. Господь с тобою, Таня! 14 января 1914 года. Ночь“.

На полях Библии были написаны годы рождения детей и кое-какие биографические сведения.

Когда мне Библию вернули, зачем-то химическим способом, были уничтожены эти сведения, но в одном месте остались следы и несколько слов бессвязно на странице сохранились.

Для чего это было сделано — непонятно.

Вернувшись в 1945 году в Загорск из тюремной больницы, я временно сторожила квартиру у моих друзей — Сарры Николаевны Шатровой и ее приемной дочери — Анны Сергеевны Курятниковой, и они мне за это давали обед. В 1945 году, после окончания войны, все-таки было материально очень тяжело. Сестра Надя потеряла свою площадь в Ленинграде и жила на птичьих правах у своей подруги Е. Д. Танненберг и работала в Мосфильме художницей. Я получала очень маленькую пенсию — 193 рубля и вынуждена была через каждые 6 месяцев проходить комиссию по медицинскому переосвидетельствованию.

В 1945 году, как инвалид второй группы, числилась в артели „Художественная игрушка" — надомницей; в 1946 году выбыла из артели, меня поставили на учет на пенсию по инвалидности.

Помнится мне, что в 1947 году сестра Надя продала рукопись отца „Апокалипсис нашего времени" в Ленинскую библиотеку.

В 1947 году, вновь, в последний раз, поступила в Историко-художественный музей вахтером. В это время сестра Надя ездила в Ленинград и сумела получить и перевезти свои вещи из Ленинграда, а также оставшиеся вещи нашей несчастной, покойной сестры Али и часть большую коллекции монет отца, которые остались у сестры в Ленинграде, в брошенной квартире подруги Хохловой. Она их привезла и в 1947 году их продала в частные руки.

В этом же году она вышла замуж за художника, Михаила Ксенофонтовича Соколова, с которым была давно знакома — он давал ей уроки живописи.

Надя, заняв деньги у Надежды Григорьевны Чулковой, купила себе комнату и решила прописать к себе Соколова в качестве мужа. Из этого ничего не вышло. Его не прописали, но он продолжал жить там. Было очень трудно, продовольственной карточки ему не выдавали. К тому же он оказался очень больным человеком. Хирург Юдин определил у него рак прямой кишки. Надя была убита, ездила к нему каждый день

в больницу после работы. Он умер через полгода. Я его видела всего два раза. Получив телеграмму о его смерти, я приехала в Москву, но его уже похоронили. Я даже могилы его не видела. Я вся в слезах приехала к своим друзьям Воскресенским. У Нади была такая манера все скрывать от меня. Стараясь меня оберегать от всяких неприятностей, она меня этим больше волновала и делала мне очень больно и отдаляла меня от себя. Всегда окруженная подругами, она мало уделяла мне внимания и сама этим мучилась. Так напряжены были наши отношения.

Вот письма Нади ко мне из Москвы в Загорск в последние годы ее жизни.

„Танечка, дорогая! Я ужасно мучаюсь, что была с тобой непростительной свиньей, но даю тебе слово, что дело было не в тебе, а только в психическом безумии от всего, ибо крыша, дождь, буквально, унесли годы жизни, а в выходной был чудовищный ливень и вместо всех дел неотложных — я до нитки вся мокрая меняла тазы, банки на чердаке, а в комнате был потоп буквальный, а я просто обеспамятила. После 20-го обещают временно чинить (крышу), а в августе-сентябре крыть железом. Не верю, просто не верю. Сейчас сижу в ожидании наступающего дождя, чтобы бежать на чердак.

Запаяла бабкин большущий таз.

24/V-1947 г.

1949 г.

Конец письма Нади:

„Обо всем переговорим.

Мы и чай-то не напьемся по-человечески вместе, все наспех.

Виновата я, очень, очень во многом-многом.

Прости меня Христа ради.

Я тебе 6-го пошлю деньги, ты их получишь 10, 12-го.

Во вторник я узнаю, как дела в издательстве с „Униженными и оскорбленными“, я напишу тебе какой рисунок взяли.

Милая моя Татьяночка, прости меня Христа ради, мне так стыдно, что я такая несдержанная и злющая, но честно слово я кричу, а в душе нисколько не сержусь, ты мой ангел. Целую тебя ужасно. Твоя Надька — дрянь.

Татьянушка!

Уехала ты и я себя грызу и грызу. Очень тебя прошу приехать 19-го, мы с тобой никогда не бываем вместе, так как 100000

твоих непосильных дел изводят тебя до того, что от бессилия и переволнения все это отражается на мне: я становлюсь отвратительной ведьмой с клыком, отчего меня самою тошнит и я себя ненавижу.

А мне с тобой в последний приезд было очень уютно. Знай всегда, что я злюсь по внешней линии, а по существу я именно такую тебя и люблю, такую как ты, я ужасно люблю, дорожу и волнуюсь ужасно. Мы с тобой тихонечко провели вечер и хорошо".

Любила я с сестрой Надей быть вместе, — она рисует, а я чиню ей белье.

Но как мало этих счастливых минут было!.. Многие дни и годы ушли на дела, заботы и болезни...

„Дорогая Танечка, здравствуй! Думали вечером приехать к тебе, если тебя не дождемся, но обещают грозу, а днем в жару итти по городу не могу. Очень беспокоит твое здоровье, не лучше ли тебе?..

Пожалуйста, напиши мне.

Завтра я позвоню и напишу тебе. 21-го пошлю тебе деньги. 22-го у меня отпуск, но фактически буду здесь с 25-го.

Напиши мне словечко. Очень хочется в Загорск.

Ты не приехала, значит, — либо плохо себя чувствуешь, либо письма не получила.

Посылаю тебе немного чернослива.

Целую крепко.

Да, книга „Библия" и др. с папиной надписью тебе очень хорошей — „памятливой Тане" — нашлась там же в шкафу. Просто стояли среди книг и незаметно было, а стала на столе перебирать — они стоят.

Целую очень крепко. Надя".

Это последнее письмо сестры Нади. Оно написано в июле 1956 года. Она меня не застала дома и оставила это письмо, цветы, найденную для меня книгу отца и каталог с японскими гравюрами.

Вскоре она умерла на даче в Абрамцево от сердечного припадка. То было 15—16 июля н.с. 1956 года. Похоронена в Москве на Пятницком кладбище.

Через несколько лет после смерти Нади я встретила подругу Вари, которая рассказала мне, что она видела Надю неза-

долго до смерти в Загорске, в нашей Ильинской церкви у исповеди и заметила, что Надя была вся в слезах.

Об ее приезде тогда в Загорск я ничего не знала.

* * *

Нашим другом и советником в те годы была Надежда Григорьевна Чулкова — у нее я также часто останавливалась. Она уже потеряла своего мужа, писателя Георгия Ивановича Чулкова и жила со своей опекуншей — Марией Алексеевной Жучковой и ее приемной дочерью Лидой, в тех же самых двух комнатах, где они жили раньше с мужем, в маленьком уютном особняке на Смоленском бульваре, бывшем доме Бахрушиной. Ныне он срыт совсем. Некогда в этом доме собирались художники и писатели Москвы. Надежда Григорьевна была прекрасной хозяйкой. По старой памяти собирались у нее и после смерти мужа. Там видела я и Ахматову, еще до войны, в то время она болела, чувствовала себя очень плохо; рассказывала, что однажды в жизни видела моего отца молодым, когда он еще был чиновником в Государственном контроле. Говорила, что хорошо его помнит. Я же сказала, что мои сестры Варя и Надя очень любят ее стихи и попросила подарить Варе фотографию. Она надписала ее. Варя была в восторге. Портрет всегда стоял у нее на столе, а после смерти Вари, я отдала его Наде. После Надиной смерти он перешел в руки Елены Дмитриевны Танненберг, ее близкой подруги. Не помню, в каком году приезжала Ахматова В Москву. Ее выступления в Ленинграде имели бурный успех, а в Москве вышла какая-то заминка, и она была очень огорчена этим. Ахматову очень любила Софья Андреевна Толстая. Видела у Надежды Григорьевны и директора Мурановского музея, родственника поэта — Н. И. Тютчева — в сюртуке, представительного, но что говорил, не помню. Встречала доктора Доброва, очень религиозного, но утверждавшего, что службу церковную нужно вести на русском, а не на славянском языке. Потом он и его семья были арестованы, все разрушено. Его дом был культурным центром московской интеллигенции. Посмертно он был реабилитирован.

Я познакомилась с Добровым через Ольгу Александровну Бессарабову, подругу моей молодости, впоследствии вышедшую замуж за историка Веселовского. Она работала с Олсуфьевым, очень помогала ему в работе перепиской его трудов. Сейчас она умерла.

Очень близка была Надежда Григорьевна ко мне и к моей сестре Наде. Особенно она любила Надю, очень ее поддерживала, помогала ей советами. Надя к ней относилась как к родной матери. Надежда Григорьевна помогала нам в знакомстве с Бонч-Бруевичем для продажи рукописей отца в 1938 году, а также ходила со мной по магазинам, помогая мне делать покупки.

До революции Чулковы жили в Царском Селе, они редко и очень официально бывали у нас по воскресным вечерам в Петербурге. Отец их не очень любил, так как расходился с Чулковым во взглядах. Вторично мы познакомились уже взрослыми, в середине двадцатых годов. Сестра Варя никак тогда не могла устроиться на работу, и ей вдруг вздумалось зарабатывать деньги танцами на улице — она решила ехать в Париж и для этого познакомилась с семьей Чулковых, чтобы Георгий Иванович помог ей в этом.

Я пришла в ужас, когда узнала о ее намерении и пошла объяснить Чулковым, что такое Варя и ее фантазии. С тех пор я стала бывать у них. Помню еще и другой случай из этого же времени. Было литературное собрание у них, кто был не помню, вспоминается только Пяст, был какой-то философский доклад, и вдруг мне вздумалось выступить. Доклад был об отношении церкви к государству. Георгию Ивановичу очень понравилось мое выступление и он сказал, что я понимаю в философии.

У Надежды Григорьевны были заслуги перед русским обществом — это ее работа об Оптиной пустыни. Когда у нее перед революцией умер сын, она очень горевала, ездила несколько раз в Оптину пустынь, а когда обитель разгромили, ездила составить план расположения могил старцев. Оттуда привезла брошенные серебряные крестики, кое-какие оставшиеся книги от монахов, описание некоторых могильных надгробий. После войны она продала эту свою работу в Ленинскую библиотеку, а копию передала в Калужский краеведческий музей (она родом из Калуги).

Надежда Григорьевна очень любила Вячеслава Иванова и его жену Л. Зиновьеву-Аннибал. Когда последняя умирала от скарлатины, Надежда Григорьевна ухаживала за ней, она сама мне об этом рассказывала. Вторую жену Вячеслава Иванова я помню очень хорошо. Он женился на своей молоденькой падчерице. Они приходили к нам в гости на Шпалерную улицу в Петербурге еще до революции.

В ноябре 1961 года умерла Н. Г. Чулкова, 29 августа 1964 года скончался Сергей Алексеевич Цветков, в 1965 году — Сергей Александрович Волков, в 1966 — Анна Сергеевна Курятникова. В течение долгих лет мы дружили с Анной Сергеевной Курятниковой и ее приемной матерью. Я еще знала ее молодой. Это была веселая, очень приятная девушка, отзывчивая на всякое горе ближнего. Такая же была ее приемная мать и ее отец — Шатровы. Она работала при железнодорожной амбулатории в качестве медицинской сестры, а жила она на Петропавловской улице близ церкви Петра и Павла. Теперь эта церковь сломана. Когда мне взгрустнется, или нападут на меня какие-нибудь „страхи", я бегу к ней. Заболит ли у меня что, иду опять в железнодорожную больницу, там меня без очереди примут и помогут.

Вспоминаю с благодарностью этих тихих, милых людей, добро расположенных ко всем, не мудрствующих лукаво. Когда приду вечером к ней, она посадит меня за стол, напоит вкусным чаем с вареньем, почитает своим милым, тонким голоском что-нибудь из „Жития святых", пошутит со мной, и я успокоюсь и рассмеюсь. Ходили мы с ней и с Софьей Владимировной Олсуфьевой и Мансуровым в скит. Она была церковным человеком, хорошо разбиралась в церковной службе, и когда-то была она и мать ее приемная под началом знаменитых последних старцев Оптиной пустыни — отца Анатолия и отца Нектария. У нее было очень много старинных книг духовного содержания, а также много старинных икон в двух киотах, перед которыми всегда теплились лампадки. Теперь все они умерли, сначала Сарра Николаевна Шатрова и ее муж, а затем и сама Аничка в 1966 году от рака печени. Она умирала очень мужественно, без всяких капризов, и почти до последнего дня была на ногах и даже ходила к мощам преп. Сергия. Мир праху ее!

Немного раньше ее, в 1965 году умер мой хороший знакомый, Сергей Александрович Волков, живший напротив моей квартиры. Он был учителем русского языка и обучал в течение чуть ли не пятидесяти лет половину жителей города Загорска. Когда-то он учился в Духовной академии и вынужден был уйти из нее, не закончив курса, так как она закрылась в 1920 году. Затем он поступил учителем русского языка в Загорскую школу и работал в здании бывшей гимназии, которую некогда он сам кончал. Это был способный учитель, умевший заинте-

ресовать учеников, читавший публичные лекции в нашем городе. Долгое время он был холостяком, потом неудачно женился, разошелся с женой, и жил грустно и одиноко в своей комнате. Любил выпить, часто на него нападала тоска, и тогда он начинал писать письма — мне или моим жильцам по квартире, поздравляя их с праздником 8-го марта, Днем Конституции, Октябрьской революцией и другими, а меня кроме того, поздравлял и с церковными праздниками. Для этих поздравлений у него был большой запас самых разнообразных открыток ярких цветов, видов, пейзажей и копий из известных картин. Надписи на этих открытках были фантастические. Так, например, в одном из писем ко мне с приложением спичечной коробки с портретом Блока, он писал: „Пришло времечко, — о чем мечтал Некрасов, — народ даже на спичечных коробках несет портреты Пушкина, Толстого и „декадента-символиста“, „мистика“ Александра Блока!

Т. В. Розановой — сие в разумение:

Придет время — и будут продаваться „Розановские“ папиросы, ибо В. В. Розанов любил покурить, и „Розановские“ клюшки, ибо милейшая Татьяна Васильевна „Rosa nova“, как я ее раз навсегда наименовал, ходила с клюшкой, не столько для того, чтобы на нее опереться, сколько для того, чтобы ею грозить врагам „условного стиля“ в искусстве! *Sic transit gloria mundi!*

5/IV-63. Загорск.

А эту карточку — Вам: пошлите кому-нибудь... *S*.“

Вот другое письмо:

„Иногда зловредная, почти всегда неразумная (по языку и по путанице в голове), зато всегда милая Т. В.!! Не сердись на меня. Сегодня я был очень измучен и от этого раздражителен. Примите в подарок „Притчи Руми“. Они назидательны, кроме того, Вы любите Восток.

Книгу о Врубеле я Вам потом достану для прочтения в библиотеке, а завтра, может быть, передам Вам в собственность (но за наличные — 1 р. 38 коп.), если мне ее привезут из Москвы.

18/X-63 г.

С.В.

Т. В. Розановой
От С. А. В.
1963 г. 31/XII. 12 ч. ночи.

Милая Татьяна Васильевна! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом, от души желаю доброго здоровья, бодрости и ясности духа, благополучия, и еще большего успеха у Ваших стариц, особенно у старцев!

Не забывайте и меня, старика! В отношении ума, я думаю, Вашим старикам не уступлю; что же касается их ухаживания за Вами, то, сознаюсь, уступаю, ибо никогда ни за кем не ухаживал, предпочитая, чтобы ухаживали за мною!

Вы, оказывается, пишете Верочке (Храмцовой) строгие письма. Это нехорошо. Ей надобна доброта и ласковость. Она такая мягкая и сердечная, что с ней иначе нельзя. А вот Вас, моя душечка, построжить немножечко не мешало бы! Но я это предоставлю милейшему М. М. Мелентьеву. Я хоть ему и не пишу, но помню о нем и люблю его.

Ваш Сер. Волков
31/XII-63 г.

Старинная песенка! (вариант)
„Таня — ангел, Таня — цвет,
Таня — кактусов букет!
Если Таню полюбить —
Но навек — покой забыть!!!
S.
Не сердись: это пишу
Шутя и любя! Милая Верочка
(Храмцова) одобрила бы эти строки!
(Я ей послал поздравление). *S*.“

Открытка Шишкина. „Прогулка на закате“. Государственный Русский музей. Татьяне Васильевне Розановой („*Rosa nova*“).

Дорогая Татьяна Васильевна! Поздравляю Вас с Международным женским днем, которым радуется Ваше суфражистское сердце! Желаю Вам долго еще работать на ниве общественного попечения, назидания и целения. Когда-нибудь Вам воздвигнут памятник, изображающий Вас в перекроенной и перешитой, и перекрашенной шубке с палкой в руке и с горшочком на голове (шляпа), а около — статьи благоговейных всех Ваших поклонников, во главе с Федором Иванычем,

(жилец нашей квартиры — пьяница. *Т. В.*). А пока желаю Вам еще раз здоровья, благоденствия и долголетия, почти мафусаиловского, чтобы Вы поучали Ваших ближних: Сосю (Гусева. *Т. В.*), „Михо" (Мелентьева. *Т. В.*) и меня, грешного, не забывая также и Инюсю, „Воробьиху" и других Ваших статсдам, имена коих мне неведомы. Всего-всего хорошего: пусть Ваша жизнь будет похожа на милую прогулку — променад, что изобразил Шишкин!

С сердечным приветом
Загорск. 8/VII-65 г.
Сергей Волков.

Т. В. Р.

Незаменимая, неизъяснимая,
Неутомимая, неумолимая,
Неукротимая, неотвратимая,
Необоримая, всеми любимая.

2/VI-65 г.
Загорск.
Maitre Servo.

17-го июля 1965 года я вернулась из Тарусы. Сергей Александрович Волков передал мне записку: „*Т. В.*! В четверг, 29-го июля я ложусь в Первую инфекционную больницу не менее, чем на месяц.

Поэтому передаю Бенуа Вам. *S.*"

Копия письма Сергея Александровича Волкова профессору...

„Дорогой, милый, многочтимый...

Я сильно заболел (печень) и завтра ложусь в больницу, бывшую Земскую. Пролежать придется не меньше месяца... А так как медицина соседствует со смертью, само слово „фармаков" значит лекарство и яд, то мне приходится об этом задумываться. У меня к Вам будет просьба: если я удалюсь к праотцам, то заплатите за меня должок... пусть это будет в счет неосуществленных моих трудов для музея.

А теперь и очень серьезная просьба: я прошу отпеть меня по православному чину, ибо, несмотря на все мои вольномыслия, в глубине души я — православный. Только отпеть как можно смиреннее, скромнее, и чтобы не было никаких венков"...

21 августа 1965 года Сергей Александрович Волков скончался в 3-ей Городской больнице от рака печени. Умер он в 10 часов утра. В больнице близких никого не было, больные рассказывали, что он вскрикнул от сильной боли и пошла горлом кровь, после чего он тут же скончался. Болел и лежал в больнице всего три недели. Плохо ему стало после Пасхи. Меня в то время не было в Загорске, я была с другим больным.

Вот что я писала Николаю Александровичу Гусеву, преподавателю литературы:

„Уважаемый Н. А., конверт, надписанный Вам лежит уже две недели, а письмо не пишется. Горюю о Сергее Александровиче, — только теперь понимаю, что он звал меня печальными глазами, чтобы я догадалась, что он уходит из жизни, а до меня не дошло. В то время я была занята и беспокоилась о другом человеке. И все звучат его слова: „Что же Вы улыбаетесь, ведь я же больной человек!“ А эти слова как-то не вязались с ним! А потом, когда я приехала из Тарусы, он трогательно рассказывал как ездил на родину и встретил двух старпеньких женщин, которые его узнали и которые с ним играли в детстве и сказал мне: „Поздно“, — ничего не объясняя, имея в виду, что поздно я приехала, и это меня мучает.

В 1967 году, 22-го сентября скончался Михаил Михайлович Мелентьев.

Самые близкие мои друзья, — все они уже умерли! Осталось у меня только несколько друзей: Воскресенская Лидия Александровна и ее дочь Ника Александровна Воскресенская, Татьяна Михайловна Некрасова и Зоя Михайловна Цветкова.

В последнее десятилетие я встретила в Загорске близких мне по духу людей, ставших мне верными друзьями. То были Елизавета Сергеевна Беляева, хирургическая сестра и врач-хирург Серафима Валентиновна Шилова, а в Москве такими верными и преданными друзьями стала семья Богословских.

Доживаю я свой век в прежней своей комнате, в том же доме, где жила при матери и сестрах.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ

Теперь следует быть объективной и нарисовать свой собственный портрет. Я была у отца самой старшей в семье. Ростом выше Вари и несколько ниже младшей сестры Нади. У меня были довольно мелкие черты лица, глубоко посаженные каре-зеленые глаза и довольно большой рот. Я была стройной, но чрезвычайно нервна и жива — и это меня портило. Но я не была так некрасива, как мне самой казалось. В этом ощущении было что-то болезненное. Я не любила и не бывала вместе с сестрами где-нибудь в гостях, так как они были хорошенькие и я терялась в их присутствии. Когда гости приходили, то они, стараясь сказать что-нибудь приятное моему отцу, обыкновенно говорили: „Как Ваша старшая дочь похожа на Вас". Я этим очень огорчалась, думая про себя: „значит, я некрасива, ведь отец был некрасив".

После сильного увлечения в юности философией, затем перенесенных ужасных лишений в гражданскую войну, после потери близких родных, трагической смерти сестры Веры, у меня началась реакция. Мне захотелось обыкновенной, простой жизни молодой девушки. Захотелось веселия и забвения. Хотелось радости, хотелось быть любимой. Но все это было мне чуждо по моей природе и потому неудачно. От всех этих переживаний я вынесла грусть о прошедшем, сожаление о частично неправильно прожитой жизни и более мягкое сердце.

Всех жалко... и меньше осуждаешь людей, только меньше, совсем не осуждать я не отучилась. Видно, ум и натура — две вещи разные...

Когда мне было лет четырнадцать, я была удивительно наивная и почему-то в моей голове сложилось представление, что замуж выходят только бедные девушки, что пристроиться. И поэтому, когда папа выражал желание, чтобы все его дочери вышли замуж и имели детей, я очень на папу обижалась и говорила, надув губы: „Папочка, мы верно тебе очень надоели, что ты хочешь от нас избавиться". Почему же у меня было такое странное представление о замужестве? Думаю, потому, что у нас семейные люди редко бывали из-за незаконного брака отца. Отец не мечтал для нас не о карьере, ни об учености. Ему больше всего хотелось, чтобы у нас были патриархальные семьи и много детей. Бедный папочка, самое главное его желание не исполнилось — ни у кого из нас не было детей.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА ЖИЗНИ В. В. РОЗАНОВА

20 апреля 1856 г. — родился в Ветлуге.

20 февраля 1861 г. — умер отец, Василий Федорович Розанов, переезд в Кострому.

1867 — около 1867 смерть сестры Веры.

1868-69 — 1 кл. 1869 или 1870 — смерть матери.

1869 — 2 кл. 1 кл. — Кострома.

70-71 — Симбирск. 3 кл. 2 кл.

71-72 — 3 кл. — См. письмо классного наставника.

72-73 — 4 кл. Нижн. Новгород.

73-74 — 4 кл.

74-75 — 5 кл.

75-76 — 6 кл.

76-77 — 7 кл.

1877-78 — 8 кл.

1878-79 — 1 курс Московского университета.

79-80 — 2 к.

80-81 — 3 к. 9 ноября 80 г. разрешение на вступление в брак. Начало женитьбы на А. П. Сусловой.

81-82 — 4 курс и оконч.

1882 — Брянск.

1886 — уехала Суслова.

1887 — переезд в Елец.

1889 — личное знакомство со Страховым (постом).

89-90 в декабре 1889 испытывал такую тоску, что писал Страхову даже о самоубийстве. („Литературные изгнанники", стр. 208).

90-91 5 июня 1891 женитьба на В.Д.Бутягиной.

91-92 август — переезд в г. Белый. Июль — поездка с В. Д. в Москву.

1893 16 марта — перевод в Гос. Контроль. Около 15 мая уже был в СПБ. Адрес: Петербургская Сторона. Павловская ул., д. 2, кв. 1.

1895 в ноябре (не позже 11-го) — поездка в Кострому на похороны брата Димитрия.

98 — Минеральные Воды. Закавказ. Крым (?).

99 — уход из Контроля.
Летом дача Риго Тукумской жел .дор.
Ст. КАРЛСБАД, Д*ЮПЕН штрассе, дача 45.

1901 — Италия — 5 мая нов. стиля.

1902 — в конце окт. операция Варв. Дм.

1903 — лето в Аренбурге.

1905 — Швейцария и Германия. Вася и Надя оставались у Гофштетера. Вернулись в первой половине августа.

1906 — поездка с В. Д. в Елец в октябре. Смерть архиепископа Ионафана. Лето — в Гатчине. Болезнь В. Д. (сердце) — февр., март — апрель.

1907 — Волга и Кавказ (Кисловодск). Уход Али из дому.

1909 — Поездка в Москву на Гоголевские юбилейные торжества. Лето на даче в Луге. В июне В. Д. уехала к матери в Елец.

1910 — Германия, Берлин, Наугейм, около Франкфурта, Мюнхен, Шварцвальд. Дети в Полтаве. Удар у В. Д. ранней осенью.

1911 — поездка в Киев. Лето в Луге. Болезнь В. Д. Смерть в ноябре (?) бабушки А. Рудневой (матери В. Д. Бутягиной).

1912 — Лето — Сиверская, им. Бело (неразборчиво), дача № 11.

1913 — Лето в Сахарне (дети, кроме Вари, в Сергиеве) Весна — болезнь В. Д. Март — сближение с В. И. Рашевской („Веруня") Вера Ивановна Рашевская — учительница музыки Т. В. Розановой и к которой В. В. очень хорошо относился. (прим. Т. В. Розановой)

1914 — Лето — Луга. Около 8 декабря приезд в Москву. Встреча с В. А. Мордвиновой.

1915 — Лето в Вырице (Мелькач)? (неразб., 25). Дочь В. В. Р. Вера ушла в монастырь.

1916 Середина июля. Поездка к Вере в санаторий на неделю.

1917 11 сент. выехали из Петрограда в Сергиев (один Вася?) около 8 авг. был еще в Петрограде, письмо 4-ого). По другому письму — около 8 авг. и в середине августа. Лето — поездка В. В. в Новгородскую губ. (ст. Суда).

1919 23 янв. (5 февр.) — умер в г. Сергиев (Моск. губ.) и погребен.

Хронологическая канва составлена С. А. Цветковым и дополнена Т. В. Розановой.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ Т. В. РОЗАНОВОЙ С Ю. П. ИВАСКОМ (1973—1975 гг.)

17.V.73

Глубокоуважаемая Татьяна Васильевна: разрешите сказать Вам, что я благодарю Вас за все поправки в Вашем открытом письме, помещенном в ВЕСТНИКЕ РСХД (№ 106, IV, 1972, Париж м(ожет) б(ыть) и без Вашего ведома.

1. Неверные сведения о детях Василия Васильевича я получил от покойного А. М. Ремизова, который, в свою очередь, был кем-то неправильно информирован.

2. Вторая Ваша поправка уже на моей совести. Недавно здесь издали один том ВВР: Избранное, включивший УЕДИНЕННОЕ, ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ, МИМОЛЕТНОЕ, АПОКАЛИПСИС, ПИСЬМА К Эр. ГОЛЛЕРБАХУ (1970 г.). В одном из других томов будет и мое измененное предисловие, которое обещаю исправить.

Что еще сохранилось из литературного наследия ВВР? Книга о Паскале? Все очень ценно.

Уж не знаю, смею ли я Вас просить об этом: хорошо, если бы Вы написали биографию ВВР. Мы же здесь, и из-за недостатка данных, часто делаем ошибки.

Одна из моих студенток написала доклад о том, как Вы читали ВОСПОМИНАНИЕ Пушкина (в связи с разбором этого стихотворения). Помню, что В. В. подарил Вам жирафа (или ошибся?).

Недавно я комментировал одну диссертацию о ВВР.

Проза ВВР оказала большое влияние на некоторых поэтов, напр(имер), на Георгия Иванова.

Буду признателен, если откликнитесь.

С уважением и приветом

Юрий Иваск

(Юрий Павл(ович) Иваск)

28.VII.73

Глубокоуважаемая Татьяна Васильевна, от души благодарю Вас за скорый отклик.

Рад, что смогу поправить некоторые мои досадные ошибки. Как я уже писал, я был введен в заблуждение покойным А. М. Ремизовым, который, по-

видимому, получил от кого-то неправильную информацию, и его за это винить не могу. Алексей Михайлович очень любил Василия Васильевича.

Я лично не сомневаюсь в том, что В. В. Розанов самый выдающийся русский писатель XX-го века, гениальный мыслитель-художник, изумительный мастер слова. После него мог бы назвать только Бунина, но эпитет „гениальный" к нему неприменим, а у В. В. Розанова были черты гениальные. Каждое слово В. В. нужно бережно хранить и, надеюсь все его рукописи сохранятся в тех архивах, в которые депонировано его литературное наследство.

Если это Вас не затруднит, хотел бы получить все даты, относящиеся к Вашей семье. Сохранилась ли могила Василия Васильевича?

Может быть, я и написал о В. В. Розанове „обнаженно", но ведь и он писал о себе именно так.

В 1970 г. была издана книга В. В. ИЗБРАННОЕ с немецким предисловием проф. Генриха Штаммлера. В этот сборник включены УЕДИНЕННОЕ, ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ, МИМОЛЕТНОЕ, АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ, ПИСЬМО К ЭРИХУ ГОЛЛЕРБАХУ. Есть ли у Вас эта книга? Мог бы ее послать. Мб, будут изданы, вернее же переизданы и другие книги В. В.

Знаю Вас с ранней юности, — по писаниям В. В. Вы были для меня литературной героиней, как, скажем, Татьяна Ларина или Наташа Ростова, и вот я получил Ваше письмо!

Еще раз сердечно благодарю Вас за отклик.

Желаю Вам всего самого лучшего, здоровья, благополучия и был бы счастлив, если бы мог быть Вам чем-то полезен.

С уважением и приветом
Ваш Юрий Иваск.

Не смею Вас об этом просить, но, конечно, я был бы счастлив, если бы Вы прислали мне карточку Василия Васильевича или какую-нибудь его запись, хотя бы даже надписанный им конверт. Или — семейную фотографию, если есть дубликат.

Уважаемый Юрий Павлович!

Очень обрадована и благодарна Вам за теплое письмо. Прошу извинить за некоторую задержку с ответом: все лето болела и мне трудно было писать. Сейчас, благодарение Богу, чувствую себя значительно лучше и могу продиктовать это письмо.

Прежде всего спасибо за сведения об издании „Избранного" моего отца с предисловием на нем. яз. Я слышала об этой книге, но ее не читала и буду Вам особенно признательна за такой трогательный и памятный подарок, тем более что по разным обстоятельствам у меня нет ни одной книги Василия Васильевича: все книги и материалы сданы мной в разное время в Литературный музей и Библиотеку им. Ленина.

В свою очередь постараюсь сообщить Вам интересующие Вас биографические сведения об отце и нашей семье, а также выслать Вам некоторые фотографии. Возвращаясь к затронутому ранее — Вы пишете, что В. В. тоже писал о себе очень обнаженно; но это совсем другое дело, когда человек пишет

о себе так откровенно, и когда пишут о нем. Мне кажется, следует учитывать разницу. Я много думала об этом и убедилась, что впоследствии те критики, которые писали осторожнее, больше выигрывают даже в смысле доходчивости.

Отвечаю на Ваш вопрос о могиле Василия Васильевича. Папа был похоронен на кладбище при Черниговском монастыре, рядом с могилой К. Леонтьева (в окрестностях Сергиева посада). На деревянном кресте была надпись из псалтири, указанная о. Павлом Флоренским: „Праведны и истинны пути Твои, Господи...“ Несмотря на официальную охранительную грамоту из Реставрационных мастерских Москвы, кладбище было срыто в 1922 году, так что могилы не сохранилось...

Теперь о другом. Вы пишете, что у вас связаны со мной образы Т. Лариной и Н. Ростовой. Интересно, что в юности это были мои любимые лит. героини. К сожалению, я на них не похожа, и жизнь моя была совсем другая.

С глубоким уважением
Т. Розанова 1973 г. 6 сент.

27.II.74

Чтимая Татьяна Васильевна, счастлив был получить от Вас все материалы о ВВР... Не знаю как Вас благодарить — особенно драгоценны последние письма Василия Васильевича, совсем удивительные. Как он страдал, медленно холодел и хотел со всеми примириться.

Прекрасны и Ваши воспоминания — вся пятая глава.

Буду понемногу писать примечания. Вы очень помогли, но еще не все ясно.

1. Вы упомянули об имении Сахарна и о том, что В. В. написал книгу под тем же названием. Какая это книга.

2. Разве в 1891 г. все вы, Розановы, жили на Петропавловской улице в Петербурге? Ведь Ваша семья переселилась в Петербург в 1899 г.

3. Была ли Вера Васильевна монахиней.

4. Кто Н. Макаренко? 5. Кто Леман?

О Тернавцеве, Бенуа или Дурылине у меня имеются данные. Постараюсь найти и о других.

6. Кем был друг В. В. по университету Вознесенский.

Устинский, помнится, упоминается в Оп. Листьях или в Уединенном.

7. В письме от 7 января 1919 г. упомянуты

Наташа,

8. Шурин любимый человек,

9. Лидочка Хохлова. Кто они?

10. В обращении к литераторам упомянут Мокринский. Кто он?

11. Кто в письме к Мережковским Сережа Каблуков.

12. Олсуфьевых постараюсь найти. Кто был муж Софьи Владимировны.

13. Священник Соловьев — вероятно не о. Сергей Мих. Соловьев, племянник Влад. С. Соловьева.

14. Что еще знаете об Устинском.

Вообще, прошу великодушно простить за все эти вопросы.

Сделаю копии и буду бережно хранить все посланные Вами материалы.

Хотелось бы их, а также, снимки напечатать. У нас многие ценят, любят великого Розанова. Недавно была написана о нем диссертация (чисто информационная). Но собрание сочинений задерживается. Вышел только оранжевый том с Уединенным, Оп. Листьями, Апокалипсисом и письмами к Эриху Голлербаху. Включено было прежде неизвестное нам Мимолетное.

Особенно тронула карточка В. В. с Вами — так могла выглядеть Ваша любимица Наташа Ростова. Еще в ранней юности я читал книги Розанова и помню это описание — как Вы удивительно читали ВОСПОМИНАНИЕ Пушкина: Когда для смертного умолкнет шумный день. С этим чтением Вы войдете в ПУШКИНИАНУ. Многие мои друзья больше всего запомнили и полюбили Таню Розанову... Благодаря В. В. Вы общий наш друг.

Письма можно было опубликовать — не правда ли?

Но запрашиваю о Пятой главе. Зачем ей, этой главе, лежать в архиве! Иногда мы пишем: „напечатано без разрешения". Главное же — надеемся, Вы не будете протестовать внутренно. Все это прошлое, уже история. Не нужно, чтобы опять путали, как и я напутал со слов А. М. Ремизова, но и он не виноват — получил какие-то неверные сведения.

Вопросы выше обозначил цифрами — для облегчения. Их всего 14.

Дай Вам Б. здоровья и всего самого лучшего. Имеете ли какие нб пожелания для посылки. Напишите. Мы рады будем помочь. Как Вам вообще живется?

Вы упомянули Тату и Нату — т. е. Татьяну Никол.(аевну) и Наталью Никола(евну) Гиппиус. Я к ним часто заходил во Пскове, в 1941 г. Рассказывал им о Мережковских, у которых был в Париже, в 1938 г.

О дальнейшей судьбе сестер Гиппиус неизвестно. Заграницу они не поехали. Нат(алья) Ник(олаевна) больше молчала, а Татьяна Ник(олаевна) много рассказывала, показывала снимки — была очень сердечный человек. Все спрашивали о сестре Зине...

Я здесь преподаю. Пробуду до 15 июля или даже позднее.

Буду очень благодарен, если откликнитесь, Татьяна Васильевна.

Преданный Вам
Юрий Иваск.

Адрес мой университетский:

Universitats str. q
Slavisches Seminar
D78 FreiBURG:/Br
West-Deutschland. Западная Германия

Я преподаю здесь или вернее буду преподавать курсы по русской поэзии. Политикой не занимаюсь.

Я написал книгу о К. Н. Леонтьеве. Там глава о его переписке с В. В., об их заочной дружбе.

Еще один вопрос (уже 15-й). В письме К. Н. Леонтьева к В. В. (май или июнь) Леонтьев поздравляет В. В. со вступлением в брак — явно с Вашей матушкой Варварой Дмитриевной. Но брак этот был тайный, так как Полина Суслова не давала развода, она умерла в 1918 г. Мб. после революции В. В. и В. Д. вступили в гражданский брак, а церковный уже был. Что Вы об этом знаете?

20.III.74

Чтимая Татьяна Васильевна, очень надеюсь, что это письмо до Вас дойдет и мб, Вы ответите... Буду очень признателен... Мне хотелось бы кое-что узнать о следующих лицах:

. . . .

Кто Каптерева. Больше о Викторе Ховине.
Кто Всехсвятские.
Кто Олсуфьевы. Он — кажется очень изв(естный) человек.
Пешков, вероятно Максим Горький.
Когда умер В. А. Тернавцев.

. . . .

Я просил издателя послать Вам ИЗБРАННОЕ ВВР — не так давно изданное, со включ. МИМОЛЕТНОГО. Там же УЕДИН.(енное), Оп(авшие) Листья, Апокалипсис, Письма к Эриху Голлербаху.

Не знаю — могу ли напечатать ту полученную мной главу Ваших очень ценных воспоминаний? Иногда пишут — без согласия автора. А можно и избежать упоминания Вашего имени. Пока же — пишу примечания. С опубликованием не спешу. Привет А. Н. Б. Хорошо, что он занимается Леонтьевым.

Меня потрясли прекрасные предсмертные письма Василия Васильевича. Как хорошо, что они сохранились. Это Вы их берегли. Наша литература не та, о которой пишут в учебниках. В XX веке нет ни одного прозаика на уровне ВВР. Значителен и Леонтьев, но он не смог себя так выразить, как Р.(озанов).

Разрешите пожелать Вам всего самого хорошего — здоровья, покоя, благополучия, тишины.

Пусть и по книгам — знаю всю Вашу семью с 20 л.(етнего) возраста.

Ваш Юрий Иваск

Я написал монографию о Леонтьеве, она была напечатана в одном журнале и, мб, выйдет отдельной книгой.

Дорогой Юрий Павлович!

Александр Николаевич Богословский показал мне Ваше письмо, в котором Вы говорите весьма сердечно о моей работе. Очень Вам благодарна, мне было приятно прочитать эти строки. Вы пишете, что трудно сразу будет опубликовать мою работу полностью. Главное, чтобы эта работа сохранилась. А когда именно „Воспоминания“ будут опубликованы имеет меньшее значение.

Но вот что мне было бы желательно: опубликовать в журнале, о котором Вы говорите, следующее: предсмертные письма Розанова к друзьям, которые помещены в моих „Воспоминаниях“, находящихся в серой папке полностью. После их напечатания, следовало бы, отделив чертой, напечатать те несколько страниц из моих воспоминаний, которые относятся к смерти моего отца. Они также находятся в серой папке.

Далее, так же отделив чертой, то есть выделив, хорошо бы поместить письмо моей матери, жены моего отца, Варвары Дмитриевны Бутягиной, к своей дочери от первого мужа, Александры Михайловны Бутягиной, жившей

в Петрограде, с просьбой приехать в семью, в Сергиев посад. В этом письме мать описывает свои переживания, последние дни отца и смерть его. Письмо помечено 10 февраля 1919 года и начинается словами: „Милая дорогая Шура! (написано под диктовку сестры Нади). О смерти не пишу, дети напишут. Он тебя каждый день ждал...“ А кончается словами: „День и ночь просил: „Папироску, дорогая мамочка!“ Это самое ужасное, эти звуки слышать!“

Целую, прижимаю, крещу. Жду тебя очень, очень. Варвара. “(Так странно подписывалась моя мама. Прим. Т. В. Розановой).

Это письмо очень важно, и по тону, и по смыслу. Здесь нельзя пропустить ни одного слова, и нельзя ни в коем случае изменить ничего. Моя мама была малограмотной, но важно сохранить тон письма и стиль его. Это письмо нужно тоже взять из большой серой папки, а тот отрывок из моих воспоминаний, который я Вам прежде послала, необходимо уничтожить, так как он весьма неверно составлен из двух воспоминаний — моих и моей матери. Это недопустимо. Прошу Вас сообщить мне о том, что Вы исполнили мою просьбу и уничтожили посланный мною отрывок из воспоминаний (тот, который Вы получили в Париже от слависта К.). Также не следует вообще упоминать печатаются воспоминания, — с ведома или без ведома автора.

Затем, очень просила бы Вас, если это возможно, напечатать в конце несколько строк о моей матери:

„Моя бедная мать пережила смерть дочери Веры и дочери Шуры. Сестра моя Вера умерла в 1919 г. через 5 месяцев после смерти отца, сестра Шура (Аля) умерла от паратифа в 1920 году, в декабре месяце. А мать скончалась в 1923 году, 15 июля, от болезни почек.

Смерть ее была замечательной по мужеству и религиозной осознанности. Впервые я видела такую величавую кончину — это была кончина праведницы. Она до последней минуты все крестилась. Взор был любящий, глубокий. Умерла в полном сознании. Отпевали ее в церкви Параскевы Пятницы. Вечером игумен Ипполит, духовник Академии, служил „парастас“. Первая панихида о ней была отслужена отцом Павлом Флоренским.

Похоронена она на Вознесенском кладбище в Троице-Сергиевом посаде, так как Черниговский монастырь к тому времени был закрыт, и кладбище, где похоронен мой отец, Вера и Аля, — разрушено.“

Простите, что я так к Вам обращаюсь, но мне очень дорого было бы, чтобы обо всем этом было напечатано где-нибудь в мире и лучше бы сохранилось.

Ознакомилась с однотомником „Избранное“ Василия Розанова (А. Нейманис. Книгораспространение и издательство, 1970. Редактор Евгения Жиглевич. Вступительные статьи Генриха Штаммлера и Евгении Жиглевич). Вступительная статья Е. Жиглевич показалась мне очень интересной. Здесь уместен эпиграф из Бубера. Отрадно, что снова будут читать „Уединенное“ и „Опавшие листья“. Важно и то, что напечатаны трудно-доступные у нас „Апокалипсис нашего времени“ и письма к Голлербаху. Шрифт, обложка, формат выбраны и выполнены с большим вкусом.

Однако, к большому сожалению, в конце книги мы обнаружили в Послесловии редактора следующую ошибку. Она пишет: „В конце 50-х годов дочери В. В. Розанова передали весь его архив в Московский Государственный Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина“. Там никогда их не было.

Старшая дочь В. В. Розанова (Татьяна, т. е. я) сообщает, что эти сведения неточны: архив В. В. Розанова сдавался постепенно, в разные периоды времени и в разные музеи и хранилища.

1) До революции, главному хранителю рукописного отдела императорской Публичной библиотеки Георгиевскому В. В. Розановым были сданы письма писателей к нему: Цветаевой, Блока, Льва Толстого и др. Впоследствии, частично, они были переданы в Государственную библиотеку им. Ленина.

2) В 1938 году, по смерти отца, дочерьми Розанова были проданы Литературному музею, возглавляемому Бонч-Бруевичем, архивные материалы В. В. Розанова, но не полностью. Там находились 12 папок с газетными вырезками передовых статей „Нового времени“ за многие годы, отдельные статьи В. В. Розанова и записные книжки его.

3) В дальнейшем, часть рукописей из Государственного Литературного музея была передана в Центральный Государственный Архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), а переписка с Л. Толстым — в музей Л. Н. Толстого.

4) В 1947 году дочерьми писателя, Татьяной Васильевной и Надеждой Васильевной передавались в Государственный Литературный музей большое количество писем писателей, а также и семейная переписка. Были переданы и многочисленные фотографии. Весь архив был пожертвован безвозмездно, частично же за фотографии было уплочено.

В том же 1947 году Надеждой Васильевной Розановой-Верещагиной была продана в Государственную библиотеку им. Ленина рукопись В. В. Розанова „Апокалипсис нашего времени“, а старшей дочерью, Татьяной Васильевной Розановой была пожертвована переписка В. В. Розанова с Тернавцевым, проиреем Устьинским и П. П. Перцовым. Письма эти чрезвычайно интересны. А также фотографии В. В. Розанова с автографами (к матери), письма Розанова к жене — Варваре Дмитриевне, письма его к старшей дочери — Т. В. Розановой, тоже безвозмездно.

5) После смерти Надежды Васильевны Розановой в 1956 году старшей дочерью Т. В. Розановой, т. е. мною, был передан весь оставшийся архив писателя и большое количество интересных фотографий в Государственный Литературный музей. А также переданы были туда мною „Воспоминания“ Надежды Васильевны Розановой-Верещягиной — тоже безвозмездно, а копия этих воспоминаний была передана Т. В. Цявловской во вновь организованный отдел ИЗО при Государственном Литературном музее, тогда же была уплачена небольшая сумма денег.

На Ваш вопрос о браке В. В. с моей матерью отвечаю: он был совершен в 1891 году, в Ельце, тайно и незаконно, так как развода А. П. Суслова не давала. Гражданского брака не было совсем, а дети были узаконены после прошения, поданного на высочайшее имя.

Варвара Дмитриевна вышла замуж в первый раз за Бутягина очень рано, и сводная сестра Александра Михайловна была намного нас старше, заменив нам больную мать.

Собираюсь выслать некоторые расшифровки некоторых фамилий из „Уединенного“ и „Опавших листьев“. Но это в следующем письме.

Помимо Вашей статьи о Розанове (предисловие к „Избранному“ В. В. Розанова, Н. И. 1956) из написанного за рубежом мое внимание остановила небольшая статья Г. Федотова („Числа“, кн.1, Париж, 1930, стр. 222—225). Тема о связи духа и плоти меня всегда очень интересовала, о ней часто говорил

в беседах со мной Флоренский еще в молодые годы, желая меня отвлечь от крайнего настроенного аскетизма.

Сердечно благодарю Вас за желание мне помочь.

Остаюсь с уважением Т. В. Розанова.
6 июня 1974 г.

24.VI.74

Чтимая дорогая Татьяна Васильевна, спасибо за прекрасную фотографию...

Рад, что до Вас дошел однотомник ВВ.

Апокалипсис нашего времени появился в 20-х годах в журнале ВЕРСТЫ и был нам всем доступен.

Пишу А. Н., что считаю Г. П. Федотова моим учителем. Знаю все его статьи и редактировал его посмертный сборник НОВЫЙ ГРАД.

О связи духа и плоти гениально говорил ВВ.

Но, сознаюсь, из сочинений о. Павла Флоренского я ничего не почерпнул и из его автобиографии, недавно изданной в ВЕСТНИКЕ. Был он праведник, мученик, но по моему, не было у него дара различения духов. Не взыщите — говорю, что думаю. Здесь была издана книга о Флоренском — Уделова — и это псевдоним. Вообще мне чужда т(ак) н(азываемая) софиология. Есть Богочеловек Христос — мера человеку и Богу, да и Богу-Отцу, слова которого так путали пророки В(етхого) З(авета). А может быть и не путали... Прочтите псалом 136,9 — от такого Бога подальше. Об этом я спорил со многими священниками. Осмелился бы поспорить и с самим ВВ... Но и не соглашаясь с ВВ, я всегда знаю — говорил он по-существу и его анти-христианство прочистило воздух.

Б. А. Филиппов, кот(орый) издал однотомник ВВР собирался издать неск(олько) томов его сочинений. Но не получил денег на издание. У нас тут все моды... Я 10 лет хлопотал об издании моей книги о Леонтьеве, кот(орая) как будто скоро выйдет. Все русские книги, издаваемые на Западе, покупают приблизительно 300 университетских библиотек, а русских читателей у нас почти нет и тем более — покупающих книги.

Евгения Жиглевич — друг Б. А. Филиппова и он, конечно, редактировал.

Вскоре постараюсь сделать Вам что-то приятное.

Такое счастье, что Вы есть и написали замечательную книгу. Вы были для меня героиней, как Наташа Ростова и вот Вы мне пишите — разве это не чудо?

С уважением и приветом
Ваш Юрий Иваск.

Великие русские писатели: Аввакум, Гоголь, Достоевский, Толстой, Розанов — остальные помельче.

24.I.1975

Чтимая и близкая — родная Татьяна Васильевна, как быстро дошло Ваше письмо от 16 янв.: в одну неделю, надеюсь и это скоро до Вас долетит.

В „Вестнике“ была пятая (последняя) глава о незабвенном В. В. Постараюсь доставить Вам хотя бы снимок. Какое чудесное письмо написала Варвара Дмитриевна. Какое у ней было любящее сердце и какая — скромность. Все же, целиком трудно напечатать — имею в виду один труд о В. В. Есть у меня и Дарский — это еще труднее издать.

Много пишут о ВВ. Так закончена о нем англ. книга, но еще не опубликована. Я ее исправлял. Не так что бы уж очень хорошо получилось, но много фактов.

Мы живем хорошо, хотя и неск(олько) обеднели: так на каникулах не топили наш ун(иверсите)т, а там мой служебный кабинет. Не хватает газа и бензина. От кого-то из Франции получил копию Ваших примечаний — очень ценных.

Я еще ничего не знаю о кончине того епископа. *

Некоторые мои знакомые бывали в Загорске с экскурсиями и много рассказывали, привозили фотографии. Прекрасный это город. Особенный.

Осень для нас была трудной. Моей жене Тамаре Георгиевне делали серьезную операцию и благополучно. Анализ был положительный. Дай Бог... Она уже давно дома, но еще слаба и Вам кланяется. Тоже знает Вас, как знает Наташу Ростову или Татьяну Ларину.

Живите как можно дольше и свидетельствуйте о том, что пережили, о том что только Вы помните.

Рад, что шубка пригодилась и, надеюсь, Вы за нее не платили пошлину, которая должна была бы быть оплачена на месте, в Мюнхене. **

Знаю Ваши трудности, но пусть у Вас будет воля к жизни, к наступающей весне!

Просьба: если будете в ц(еркв)и, м(ожет) б(ыть), вынете просфорку за здравие Георгия (это ведь мое настоящее имя) и Тамару. Я так делал, когда в 62 г. был на Афоне.

Будьте здоровы, Татьяна Васильевна. Если бы можно было провести с Вами хотя бы один вечер... Да хранить Вас Г(оспо)дь.

Написал бы и больше... На осеннее письмо Ваше не ответил.

Ваш преданный и любящий
Юрий Иваск

27 апреля 75 г.

Чтимая Татьяна Васильевна, так рад был получить Ваше письмо. Давно не писал, но много ли напишешь.

Спасибо за снимок, м(ожет) б(ыть), и любительский, но очень хороший. Ясно вижу Вас на оснеженной улице.

В той Пятой главе примечание о Вашем брате выпало при наборе. Жалею об этом.

---

* Т. В. Розанова в одном из писем Ю. И. писала о смерти священника и профессора Московской Духовной Академии А. Остапова.

** Ю. Иваск купил Т. В. Розановой нейлоновую шубку в Зап. Германии, оплатил пошлину и отправил в Москву. Т. В. носила ее в последнюю зиму жизни. /А.Б./.

Благодарю за точные даты рождения. Вот теперь узнал, что Вы родились 22 февраля — совсем недавно и — поздравляю новорожденную.

Вы не везде пометили — по какому стилю эти даты. Лучше давать их по новому стилю.

От. И. Фудель был близок к Константину Леонтьеву и много о нем писал. Знал и Василия Васильевича.

Если можно, расскажите о нем больше — как о человеке.

Бережно храню все материалы о В. В.

Что же требовать с ВОПРОСОВ ЛИТЕРАТУРЫ...

. . . .

Тамара тронута Вашим вниманием. Шлет привет. Она почти оправилась после операции.

. . . .

Одно нем(ецкое) издательство перепечатывает ТЕМНЫЙ ЛИК, заказало у меня англ(ийское) предисловие, которое уже видел в корректуре. Планируется и издание ЛЮДЕЙ ЛУННОГО СВЕТА. Мое предисловие было информационное, без новых мыслей.

Писал ли я Вам, что вышла моя книга о Константине Леонтьеве, на русском языке, 430 стр. Там немало и о Василии Васильевиче. Не посылаю, п(отому) ч(то) не дойдет. Разве что представится удобный случай...

Знаю Вас и всю Вашу семью приблизительно с конца 20-х г., когда начал зачитываться книгами В. В. Счастлив, что с Вами познакомился, хотя бы и письменно.

Живите, берегите себя.

Написал бы больше, но что писать?

Но отзовитесь!

Ваш Юрий Иваск

Х.В.!

Адрес:
G. Ivask
Slavic Dp. University of Massachusetts
Amherst, Mass., 01002 USA

Пошлины за посылки всегда уплачиваются отправителем: так оно и было. М(ожет) б(ыть) еще что-н(ибудь) пошлю. Я бытие люблю очень.

12.V.75

Дорогой Александр Николаевич, мне только что передали Вашу телеграмму. По телефонному сообщению, в англ(ийской) транслитерации. Но прибудет и текст телеграммы. Уже получил.

Не встречался я с незабвенной Татьяной Васильевной, а вот оплакиваю ее — и всех Розановых и не только их.

Розановы в Уед(иненном) и в Опав(ших) Листьях — как будто совсем обыкновенные Розановы — также велики, как божественные и героические семьи Гомера — вернее же: они более живые! Но это все риторика... А Татьяна Васильевна есть Татьяна Васильевна, для В. В. его любимая Таня... и это важнее всего.

В марте получил посл(еднее) письмо Т. В. с открыткой — она идет с палочкой по заснеженной улице. Вспомнились слова В. В. — и бредет моя бродулька, т.е. В. Д. * Только он умел так говорить... И эта новая бродулька была по возрасту куда старше, чем ее родители... Если нетрудно — сообщите о том, как уходила Т. В. Очень ли страдала? Что говорила? Все это драгоценно.

Писать некрологи как-то преступно — они своего рода смертные приговоры, даже если написаны с любовью... Но все же они могут быть чем-то оправданы: это наше не вечная, а невечная память об ушедших.

. . . .

Откликнитесь!
Ваш Юрий Иваск

. . . .

Несколько месяцев тому назад была издана моя русская книга о Леонтьеве. Там — глава и о Розанове.

ИЗ ДНЕВНИКА НАДЕЖДЫ РОЗАНОВОЙ

1917 г. Поездка в Абрамцево

6-го ноября. Ночь. В постели. Среда.

Грустно, грустно, а по временам злоба и досада и возмущение охватывает душу и становится так темно и пустынно.

Сегодня весь день нахожусь под впечатлением поездки в Абрамцево, и дрожь и волненье радостное, восторженное овладевает мной.

С каким грустным чувством въезжали в старинную усадьбу Аксаковых, Мамонтовых (ныне Самариных). Скамейка под снежным бугром, изразцовая в русско-декадентском стиле, необыкновенной красоты, старые оснеженные деревья, печально занесены снегом дорожки. Это те милые такие близкие дорожки, где бродил Аксаков, где Врубель, Серов, Чехов, задумчиво любовались высокими тенистыми деревьями, вдыхая пахучесть трав, а зимой наслаждаясь белым, сыпучим бесконечным снегом.

И Вера Савишна Мамонтова эта девушка с таким чудным русским лицом, блестящими черными глазами, нежным здоровым загаром, которую рисовал Серов, все нахлынуло на меня и затомилось сердце приятной, далекой бесконечной грустью.

А кругом была бесконечная пустынность.

Но я расскажу подробно всю поездку.

Вечером в день маминых и Вариных именин, Флоренский настаивал, чтобы папа поехал обязательно в Хотьково, в Абрамцево, именье Аксаковых или Самариных. Он говорил, что это имение м(ожет) б(ыть) скоро будет разрушено и что нельзя упускать случая. Они порешили и папа, Флоренский, Александров решили на следующее утро ехать.

---

* В. Д. — Варвара Дмитриевна, жена В. В. Розанова, мать Т. В.

Гости скоро разошлись, мы стали ложиться спать. Вдруг Таня приходит и говорит, что ей страшно хочется ехать, что это так интересно, но что ей одной с мужчинами неудобно и просила меня. Меня самою страшно тянуло и я с радостью согласилась.

Утром мы встали довольно рано, но очень долго провозились с Таней и потому отправили на вокзал папу сначала. Когда мы вышли с Таней было уже поздно (часы у нас одни на 1 час вперед, другие на час назад, так что мы не знали сколько времени).

Краски были необыкновенные. Это нежное, бледное небо с розовато золотистой далью и высокие деревья в инее, ярко горящие бриллианты в блеске утреннего, холодного солнца и вдали туман, дымкой уходящий. Я не могла налюбоваться этой тихой молчаливой прозрачностью и светящим ярким бриллиантом на оснеженных деревьях.

Когда мы вышли на дорогу я остановилась. Белый туман повис над городом (он, город лежал внизу) и лишь верхи Лавры, колокольни и золотые главы церквей одни высились среди бесконечного тумана, сверкая золотом, искрились в холодных, золотых лучах. Было хорошо, легко идти на морозе.

Мы подходили к вокзалу с тревогой, что опоздали к поезду и они уехали. Кроме того, мы боялись с Таней, что Флоренский будет недоволен, так как народу будет очень много и неудобно такой компанией ехать.

На вокзале их не оказалось, мы опоздали на четверть часа. Было ужасно досадно. Следующий поезд шел через 21/2,3 часа. Ждать противно, скучно, нанять лошадей — слишком дорого. До Хотьково было 12 верст и я стала уговаривать Таню идти пешком. Она долго колебалась, потом согласилась. Дорога шла по шпалам, через лес. Идти было опасно, даже очень. Кроме опасности встречи была опасность занесением снегом дороги, но я старалась не задумываться и когда Таня начинала высказывать всякие предположения — сердито ободряла ее. Идти приходилось по шпалам железной дороги.

Небо было бледно-голубое, чистое, нежное, озаренное, то далекие поля покрытые белой пеленой снега, то лес и внизу под горой словно туманная дымка простирался березняк. Так хороши были эти тоненькие, тоненькие березки, голые, покорные под далеким, холодным, голубым прозрачным небом.

Временами было тяжело идти из-за глубокого снега. Шли мы быстро. Наконец повстречали избушку, вошли и спросили много ли верст осталось до Хотькова.

Черноглазая красивая женщина вышла с ребенком смуглым и таким же черноглазым и черноволосым и сказала, что осталось всего 4 версты.

Я была в драповом пальто и теплой вязаной кофте и в берете. Но мне не было холодно. И даже ноги мои, обутые в сапоги, гетры и мелкие галоши нисколько не замерзли. А на дворе был мороз.

Скоро засверкал купол Хотьковского собора.

Увидели станцию. Здесь я пять лет тому назад сидела в день Вериного рождения на этой скамейке и ждала поезда. Было жарко, на Вере было новое розовое платье. Мы торопились домой, где нас ждало мороженое.

Мы с Таней боялись, что Абрамцево не в Хотькове, а в Александровке, на другой, совершенно противоположной от Сергиева станции, как мне стало казаться. Но встреченные в Хотькове мужики сказали, что Абрамцево в 3-х, 4-х верстах от станции. Мы наняли извозчика и поехали. Я волновалась страшно. Было холодно. Весело бежали лошади по белому пушистому снегу, мимо оснеженного леса и далеких белых полей. Все было такое русское, милое. Вот здесь может быть бегал Аксаков, а после Серов, Мамонтов, Чехов, Врубель. Наш извозчик плотный широколицый мужик с умным лицом, седой, небольшой бородкой и живыми немного лукавыми глазами — беспокоился все время, что нам холодно и широко раздвинув полы желтого, кожаного тулупа, весело подгонял лошадей.

Вот и Абрамцево. При въезде скамейка вся узорная, под оснеженным бугром. Казалось, перед нами совсем новый мир новая эпоха, люди. Только кругом была тяжелая, давящая тишина. Что-то заснувшее и одинокое сквозило во всем.

Вот постройки и дом длинный, выкрашенный в голубовато-серую краску.

У соседнего дома стояло двое лошадей. На крыльце стоял малыш. Мы пробовали с Таней расспросить его, но не добились никакого толка от его лепетания, непонятного ответа и стали стучаться в дом. В окно выглянуло чье-то мужское лицо с прищуренными черными красивыми глазами и тонкими сжатыми губами. Нам отворили дверь и сказали, что приезжие все в церкви. Мы поблагодарили и пошли.

8 ноября. В Казенной палате в Москве.

Хочется продолжить оборванный свой рассказ. Несколько ночей не спала, все снилось печальное, заглохшее Абрамцево.

Мы с Таней пошли по занесенной снегом дорожке. Около входной аллеи под двумя кустами смешно и грустно растопырившими корявые черные ветки — стояли две каменные бабы, привезенные с кургана далеких южнорусских степей. Из земли молчаливые, как сама земля, загадочные и вещие. Дорожка шла вниз. Среди белых снежных деревьев серела каменная церковь совсем небольшая, железные двери, все в русском старинном стиле. Окошки с чугунными узорчатыми решетками. С затаенным страхом, волнением я вошла в темную маленькую дверь и остановилась в глубоком немом восторге. Черная икона, алтарь, небольшой амвон разрисованный бледно-голубым небесным цветом с белыми цветами, бабочками, темно-синий покров с вышитыми белыми лилиями и черные лики святых в потемневших ризах, резные оконца, кресты и тишина могильная...

Где-то снизу вышел Александров. Он ахнул, удивился, не ожидал нас увидеть, что мы приедем и крикнул остальным. Вышел папа, за ним показалась темная, худая фигура Флоренского. Начались расспросы, удивления. Один П. А. молчал, наклонив голову. Я стала одна рассматривать. Флоренский показывал все тоже, объяснял.

Я смотрела на все с таким чувством глубокого преклонения. Здесь может быть молился Аксаков и переживала Вера Мамонтова тяжелую личную жизнь.

Здесь Гоголь был и был Серов, ходили по этим самым плитам.

Флоренский раздвинул занавеси алтаря и окно было необыкновенно красиво кубиками разрисовано. Работа Врубеля. Флоренский говорит, что здесь исполняли все свои первые работы художники — Врубель, Серов, Васнецов. Здесь была мадонна Васнецова, что во Владимирском соборе и висит у меня над постелью (репродукция), первая его работа. Его же работы — цветы и бабочки.

Вот лик его же Иоанна Крестителя, скорбный, глаза открытые, пророческие... Иконы, кресты, привезенные с севера.

Мы долго рассматривали. Потом вышли. Долго оглядывались на эту небольшую серую церковь, так робко, печально и вечно темнеющую среди ослепительных снегов и черных голых веток. Чернели в сером небе галки, одиноко каркали и взмахивали крыльями.

Мы шли медленно, Флоренский рассказывал про Мамонтовых. Теперь С. И. Мамонтову 80 лет, глубокий старик, прежде сиявший, блестящий в высшем обществе им опозоренный, покинутый. С ним только А. С. Мамонтов и экономка. Он сам отвернулся от неблагодарного общества и живет в молчании и одиночестве. К нему никого не допускают (sic) даже самых близких, всякое посещение страшно волнует его. У него горе одно за другим. Смерть любимого сына Андрея, затем Веры, после позор, суд, и много, много еще горя. И теперь все эти волнения. Из дома вывезли все ценное из боязни аграрных беспорядков. Вывезли и портрет Серова В. С. Мамонтова и Врубеля работы, которые совсем никому неизвестны. Дом опустелый, мертвый.

Грустно стало от рассказа Флоренского.

И грустна была тишина и эти черные вороны и галки на белом снегу, и голые печальные ветви.

Вот дом, где живет Нестеров, там устраивали когда-то Мамонтовы театр, но холодно, опустело. Там „избушка на курьих ножках“ маленькая причудливая, а вот от флигеля нам экономка дала ключи. Вошли туда. По стенам портреты, все тоже характерные. Вот вояка Ермолов с целой львиной гривой седых волос. Суровое и правдивое грубое лицо. Там в глубине постель, столик, где занимается маленький Самарин.

Печи старые, русские, изразцовые. Другая соседняя комната тоже в русском стиле, на потолке кружевное, резное украшение. Долго осматривали цветы, печи русские. Простились с экономкой, сели на лошадей. Смотрели с грустной болью на опустевшую усадьбу.

Весело бежали лошади. Снова скамейка Врублевская.

Прощай милое покинутое Абрамцево, старая церковь, флигель. Последний раз мелькнувшие аллеи.

Флоренский шел со студентом, он сбежал с горки, покатился на ногах. Ему не хотелось ехать.

А вот и вокзал. Тихое очарование не покидало меня. Флоренский что-то говорил и пускал шпильки. Советовал нам брать пример с Васи, сказал, что „все вы эстеты до мозга костей“ и „что хорошая проза лучше дурной поэзии“ и что „если даже стихи хороши, но когда их множество, они делаются невыносимыми“ и многое...

Мы в чем-то не послушались папу и резко его остановили, он (Флоренский) сказал, что мы „строптивые“, которых нужно сокращать. Я сказала, что это „поздно“. „Ничего не поздно. Вы почитайте „Укрощение строптивой“ Шекспира, говорил он. „Перед сном каждый должен читать“. „Посмотрим какие результаты“, — ответила я.

Говорил он много. Многое меня удивило и не понравилось. Показало его мелкие стороны. Писать не хочется. *

В поезде Флоренский хотел остаться на площадке и посмотрел на меня, я ушла. Он тоже вошел в вагон. Но мне стало душно и я вышла на площадку и села на ступеньки. Было хорошо, небо сливалось с землей и вихревое снежное носилось в воздухе. Было грустно на душе. Скоро приехали. Пошли с Таней вперед. Флоренский с папой остались. Не могу спать. Все вспоминается Абрамцево.

---

* Примечение Т. В. Розановой — „сестра Надя была либералка в молодости“.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Воспоминания создавались в моем сознании в течение многих лет. Некоторые части их были написаны почти тотчас же после событий, — так например, — смерть отца, смерть матери. Затем, значительно позднее, мною были описаны впечатления от поездки на Кавказ, о домике Лермонтова. Воспоминания же о Репине, В. В. Андрееве и Нестерове были записаны только в 1968 году, но в уме они сложились значительно ранее. Все эти работы находятся в Государственном литературном музее.

Полностью воспоминания я отказывалась писать, несмотря на неоднократные просьбы и писателей, и частных лиц. Какая же тому была причина! 1. Очень тяжело прожитая жизнь, страшно вспомнить что было, я сознательно отстраняла от себя припоминание прошлого. 2. При- чина, не менее важная для меня, что никакое словесное выражение для меня немыслимо без формы, а форма родилась у меня только в 1969 году, когда вдруг она вылилась как-то непроизвольно, как бы помимо меня, и все улеглось в строки само собой.

Форма была найдена. Угол зрения установлен. Работа была сделана.

Теперь о внешней стороне дела: — так как у меня больна правая рука и слабо зрение, то техника письма мне крайне затруднительна и я обратились с просьбой к моим друзьям записать мои воспоминания под диктовку. Даты же устанавливались по записной книжке покойной сестры Нади, частью же по документам и копиям писем, хранящихся у меня.

Так была мною выполнена работа.

В заключение выражаю свою благодарность лицам, оказавшим мне значительную помощь в этой работе: семье Богословских — Анне Давыдовне Богословской и старшему научному сотруднику А. Н. Богословскому, искусствоведу Татьяне Васильевне Николаевой, литературоведу Петру Алексеевичу Журову и научному сотруднику К. В. Агаевой.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА РОЗАНОВА

г. Загорск, Московской области,
Проспект Красной Армии,
д. 139, кв. 12.
12 февраля 1971 г.

КОММЕНТАРИИ

С. 16. ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич (1860—1936) — русский историк. Ректор Московского университета в 1911—1917 гг.

С. 16. СУСЛОВА Аполлинария Прокофьевна (1840—1918) — первая жена В. В. Розанова. „Дневник" А. П. Сусловой, обнаруженный в 1919 г., издан А. С. Долининым („Годы близости с Достоевским". Л., 1928).

С. 18. История довольно сложных отношений В. В. Розанова и М. М. Пришвина достаточно отчетливо раскрывается в публикации дневниковых записей М. М. Пришвина в сборнике „Контекст" 1990. Дневник Пришвина свидетельствует, что на протяжении всей своей сознательной жизни М. М. Пришвин обдумывал и переживал проблематику Розанова, его религию пола.

С. 18. БУТЯГИНА Варвара Дмитриевна (урожд. Руднева) (1864—1923) — вторая жена В. В. Розанова. „Друг", „мамочка" как называет ее Розанов в „Уединенном" и „Опавших листьях".

С. 18. БУТЯГИНА Александра Михайловна (1883—1920) — падчерица В. В. Розанова, дочь Варвары Дмитриевны Бутягиной от первого брака.

С. 20. ИННОКЕНТИЙ (Борисов Иван Алексеевич) — архиепископ Херсонский и Таврический, богослов и знаменитый проповедник.

С. 21. ФИЛИППОВ Тертий Иванович (1825—1899) — директор Государственного контроля, литератор славянофильского направления.

С. 21. СТРАХОВ Николай Николаевич (1828—1896) — философ, литературный критик, друг В. В. Розанова.

С. 25. ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ (в миру Прохор Мошнин) (1760—1833) — великий православный святой, канонизирован в 1903 г.

С. 25. В Сарове В. В. Розанов побывал с Варварой Дмитриевной и детьми летом 1904 г., это нашло отражение в очерке „По Тихим обителям" („Новое время". Август—сентябрь 1904). Очерк включен В. В. Розановым в книгу „Темный лик" (СПБ, 1911).

С. 26. АРХИЕПИСКОП ИОНАФАН (Ярославский) (?—1906) — брат отца Варвары Дмитриевны Бутягиной, жены В. В. Розанова.

С. 30. МЕНЬШИКОВ Михаил Осипович (1859—1918) — публицист, сотрудник „Нового времени“, расстрелян вскоре после Октябрьского переворота.

С. 34. ИВАНОВ Евгений Павлович (1879—1942) — литератор, друг В. В. Розанова.

С. 34. РОМАНОВ Иван Федорович (РЦЫ) (1861—1913) — литературный критик, публицист, сотрудник изданий „Русь“, „Северные известия“, „Благовест“, „Русская Беседа“, „Мир Искусства“. Писал статьи также под псевдонимом „Гатчинский Отшельник“, „Заточников“. Друг В. В. Розанова. Письма И. Ф. Романова к В. В. Розанову опубликованы Ю. П. Иваском в „Новом Журнале“, № 159, Нью-Йорк, 1985 г.

С. 47. ТЕРНАВЦЕВ Валентин Александрович (1866—1940) — религиозный философ. Совместно с В. В. Розановым, Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус способствовал открытию СПБ Религиозно-философских собраний (1901—1903). Чиновник по особым поручениям при обер-прокуроре Синода. „Книг он не писал, если и писал — не печатал, — вспоминает З. Н. Гиппиус,— “При всей „учености“ своей он не был и „ученым“. Даже оратором, в сущности, не был: все знавшие его, слышавшие огненные речи, чувствовали в них пафос не ораторский, — иной. Человека со столь высокими языками настоящего пророческого пламени — нам никогда больше встречать не приходилось. Некоторые его речи, застывшие в стенограмме, обеззвученные печатной бумагой, все-таки поражают, — до сих пор... Он был ученый богослов и самый православный церковник. Но при этом он относился к христианству с поедающей ревностью библейского пророка. Он требовал, именно требовал, от христианства движения, раскрытия его во времени“ (З. Н. Гиппиус. Два завета. „Возрождение“, № 1044. 11.IV.1928. Перепечатано: „Вестник РХД“. № 122. 1977. Там же воспроизведена — статья В. В. Розанова „На чтении гг. Бердяева и Тернавцева“, впервые напечатанная в „Новом времени“ 12/25 марта 1909 г. № 11853).

С. 47. ЩЕРБОВ Иван Павлович (1873—1925) — преподаватель Петербургской Духовной академии.

С. 47. СТОЛПНЕР Борис Григорьевич (1871—1967) — философ, участник Петербургского религиозно-философского общества. Друг В. В. Розанова.

С. 48. ГИППИУС Владимир Васильевич 1876—1941) — поэт, литературный критик, преподаватель в гимназии Стоюниной и в Тенешевском училище, где учились дети В. В. Розанова.

С. 49. ЧУЛКОВ Георгий Иванович (1879—1939) — поэт-символист, писатель, литературный критик, автор книги воспоминаний „Годы странствий“ (М., 1930).

С. 49. СУСЛОВ Владимир Васильевич (1858—1921) — архитектор, автор трудов по древнерусской архитектуре — „Очерки по истории древнерусского зодчества“ (1889).

С. 49. ПЕРЦОВ Петр Петрович (1868—1947) — литературный критик, издатель книг В. В. Розанова.

С. 51. ВЕСЕЛИТСКАЯ Лидия Ивановна (псевдоним — В. Микулич) (1857—1936) — писательница, автор трилогии „Мимочка“ (СПБ, 1892), посвященной судьбе женщины и книги воспоминаний „Встречи с писателями“ (1929).

С. 63. ДУНКАН Айседора (1877—1927) — знаменитая американская танцовщица, возродившая культуру древних греческих танцев.

С. 64. ШЕРВУД Леонид Владимирович (1871—1954) — русский скульптор.

С. 64. АНДРЕЕВ Василий Васильевич (1861—1918) — музыкант, балалаечник. Организатор и руководитель первого великорусского оркестра народных инструментов.

С. 65. АПОСТОЛОПУЛО Евгения Ивановна (1858—1915) — бессарабская помещица, владелица имения Сахарна неподалеку от станции Рыбница на берегу Днестра, собирательница русской и местной художественной старины. После ее смерти В. В. Розанов почтил ее память, написав статью „Памяти Е. И. Апостолопуло“ („Русский библиофил“. 1915. № 8). Выделяя основную черту личности покойной — синтетичность и стремление преодолеть роковое разделение между русским и местным населением в области культуры — Розанов считал центральной идеей всей жизни Е. И. Апостолопуло. „Мечтою всей ее жизни было — собрать и открыть местный музей в Кишиневе, посвященный общерусской живописи и местной старине, народному творчеству в костюмах, в домашней утвари, во всяческом роде ремесленно-художественных изделий. Нижний этаж ее дома уже представлял собой такой музей, — собрание мебели, ковров, предметов церковной утвари, икон, внутреннего расположения молдаванских

изб. Чем-то столь же восточным, как и западным, веяло от этого музейчика, удивительно уютного, какого-то „теплого“ по своему духу. Музей был в то же время „молдаванской избою“, т.е. это не были „вещи“, собранные в кучу или лежащие в витринах, а это было „народное жилище“, но только подобранное из предметов всей старины и всей ее старой истории. Едва она узнала о своей неисцелимой болезни, — как тотчас же озаботилась составлением духовного завещания, по которому после ее смерти должно было реализоваться ее имущество (ей принадлежащий один большой завод в Одессе) и на вырученные деньги (около миллиона) должна быть осуществлена ее мысль касательно музея. План и осуществление самого здания музея возложены на друга ее, с детства, известного архитектора Алексея В. Щусева, — который вообще принимал близкое и горячее участие в ее художественно-народных интересах“.

С. 65. Отрывок из книги В. В. Розанова „Сахарна“ напечатан в „Вестнике РХД“. № 122. 1977 („После Сахарны“) ; другой отрывок „Перед Сахарной“ — в „Вестнике РХД“. № 130. 1979. Обе публикации подготовил Ю. П. Иваск. В журнале „Литературная учеба“ (1989. № 2) с примечаниями и вступительной статьей В. Г. Сукача напечатана третья часть рукописи „Сахарна“ („После Сахарны“).

С. 66. АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Александрович (1861—1930) — поэт, литературный критик, друг К. Леонтьева, редактор журнала „Русское Обозрение“ (1892—1898) и сотрудник газеты „Московские Ведомости“.

С. 67. ЛОССКИЙ Николай Онуфриевич (1870—1965) — русский философ, последователь Бергсона.

С. 69. ЦВЕТКОВ Сергей Алексеевич (1888—1964) — литератор, друг В. В. Розанова. Составитель библиографии В. В. Розанова.

С. 70. ГОЛЛЕРБАХ Эрих Федорович (1895—1942) — поэт, литературный критик, автор многочисленных статей о Розанове и критико-биографического исследования „В. В. Розанов. Личность и творчество“. Петроград. 1918. Дополненное издание этого очерка вышло в 1922 г. и переиздано ИМКА-ПРЕСС в Париже в 1976 г.

С. 70. СПАСОВСКИЙ Михаил Михайлович — литератор, издатель студенческого научно-литературного журнала „Вешние Воды“. Петроград. 1914—1918. Автор книги „Ро-

занов в последние годы своей жизни". Берлин. Б. Г. (1938?). Вторым изданием книга вышла в Нью-Йорке в 1968 г.

С. 78. ТИГРАНОВ Фаддей Яковлевич — литературный критик, автор книги „Кольцо Нибелунга" (СПБ. 1910), сотрудник журнала „Вешние Воды".

С. 78. РУСОВ Николай Николаевич (1883—?) — писатель, автор книг „Любовь возвращается" (М. 1913) и „Золотое счастье" (М. 1915).

С. 78. СИДОРОВ Алексей Алексеевич (1891—1978) — историк искусства, библиофил, автор монографий об Альбрехте Дюрере, Обри Бердсли.

С. 78. ЛЕМАН Георгий Адольфович (1887—1968) — издатель, литератор, переводчик. В XXXI письме к Э. Ф. Голлербаху (8.X.1918) В. В. Розанов так характеризует Г. А. Лемана: „Леман же, о коем я думал всю ночь предыдущую, вот что такое: это — Шварц около Новикова, а еще — вернее — соединение Новикова и Шварца: личность нравственно гениальная, абсолютно чистая и бескорыстная... Это — Белинский же, с его впечатлительностью, с его отзывчивостью, но уже без чахотки, без злобы, без революционного жара, отсюда вытекающего, с благосостоянием (хотя теперь очень нуждается), обеспеченный, свободный, и гораздо более чем Белинский культурно — зрелый, стоящий вполне на своих ногах, друг целой серии молодых профессоров (Карсавин, Браун)".

С. 81. ФУДЕЛЬ Сергей Иосифович (1901—1977) — писатель, сын священника И. Фуделя, друга К. Леонтьева. С. И. около 35 лет отбывал в советских лагерях и ссылках. Автор книги „Об о. Павле Флоренском" (2-е изд. ИМКА-ПРЕСС. 1988).

С. 81. Комиссия по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры существовала с 1 ноября 1918 г. по 15 января 1925 г. Председателем комиссии был избран Д. М. Гуревич, товарищем председателя Ю. А. Олсуфьев, ученым секретарем П. А. Флоренский.

С. 81. МАНСУРОВ Сергей Павлович (?—1929) — священник, богослов. Незавершенная работа С. П. Мансурова „Очерки по истории Церкви" напечатана в „Богословских трудах". М., 1971. №№ 6, 7.

С. 82. ОЛСУФЬЕВ, граф, Юрий Александрович (1879—1937?) — исследователь и знаток древнерусского искусства,

сотрудник филиала Московского и Румянцевского музея в Сергиевом посаде.

С. 89. ЛУТОХИН Долмат Александрович (1885—1942) — литератор, ученый экономист.

С. 92. УСТЬИНСКИЙ Александр Петрович (1854—1922) — священник Дмитровской церкви в Новгороде, друг и многолетний корреспондент В. В. Розанова. Некоторые письма о. Александра Розанов опубликовал в книгах „В мире неясного и нерешенного“ (СПБ, 1904), „Около церковных стен“ (СПБ, 1906).

С. 92. ХОВИН Виктор Романович — литератор, редактировал журнал „Очарованный Странник“. После 1917 г. издавал сборники „Книжный угол“ (1918—1922) №№ 1—8, где печатал последние „листья“ В. В. Розанова. В 20-е годы эмигрировал во Францию. В годы второй мировой войны исчез, видимо, погиб в нацистских лагерях.

С. 93. ДУРЫЛИН Сергей Николаевич (1877—1954) — писатель, литературный критик, историк русского театра.

С. 95. ФИЛОСОФОВ Дмитрий Владимирович, „Дима“ (1872—1940) — литературный критик, публицист.

С. 95. КАБЛУКОВ Сергей Платонович (1881—1919) — секретарь Религиозно-философского общества (1909—1913), знаток русской церковной музыки, сотрудник журнала „Музыкальный Современник“ (1915-1917).

С. 95. МАКАРЕНКО Николай Емельянович (1888—1934) — сотрудник Эрмитажа, автор книги „Художественные сокровища императорского Эрмитажа. Краткий путеводитель“. Петроград. 1916.

С. 95. ГИППИУС Татьяна Николаевна (Тата) (1877—1957) — сестра З. Н. Гиппиус, художница.

С. 95. ГИППИУС Наталья Николаевна (Ната) (1880—1963) — сестра З. Н. Гиппиус, скульптор.

С. 96. ХОХЛОВА Лидия Доментьевна (1900—1991) — подруга дочери В. В. Розанова Надежды, автор воспоминаний о блокаде Ленинграда в 1941—1944 гг. („Наше наследие“). 1989. VI).

С. 100. ИЛЛАРИОН (Троицкий Василий Александрович) (1866—1929) — архиепископ Верейский, викарий Московской епархии. Участник Собора 1917—1918 гг. С 1920 г. — епископ, с 1923 г. — архиепископ Верейский. С 1925 г. — в Соловецком лагере. Умер в пересыльной тюрьме в Ленинграде.

С. 127. Отец АЛЕКСЕЙ МЕЧЕВ (1860—1922) — священник Московской церкви Николы в Кленниках. Под редакцией Н. А. Струве в 1989 г. в издательстве ИМКА-ПРЕСС в Париже вторым изданием вышел сборник материалов об отце Алексее, включающий воспоминания С. Дурылина, епископа Арсения, П. Флоренского, А. Ярмолович, письма и проповеди отца Алексея.

С. 131. КОЖЕВНИКОВ Алексей Венедиктович (1891—1980) — советский писатель.

С. 146. СОКОЛОВ Михаил Ксенофонтович (1885—1947) — художник, в советское время — преподаватель Института по повышению квалификации художников. Второй муж Н. В. Розановой. В 1938 г. по ложному доносу арестован и отбывал срок в лагере принудительного труда в Сибири близ станции Тайга. В 1943 г. по болезни освобожден ранее окончания срока. До 1946 г. жил в Рыбинске. Умер в Москве. Картины М. К. Соколова сейчас хранятся в Ярославском художественном музее, где в 1987 г. была развернута выставка его работ. Письма М. К. Соколова из лагеря к Н. В. Розановой напечатаны в журнале „Москва“ (1989. № 2).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Татьяна Васильевна Розанова
"Будьте светлы духом"

Составитель **А. Н. Богословский**
Редактор **Т. А. Фролова**
Художник **Е. Ф. Зайцев**

ЛР № 020917 от 27.09.94
Подписано в печать 05.02.99. Формат $84 \times 108^1/_{32}$.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 9,2 + вкл.
Уч.-изд. л. 11. Тираж 2000. Заказ 6875. Цена договорная.
Издательство "Blue Apple", Москва
Отпечатано в Производственно-издательском комбинате ВИНИТИ,
140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.
Тел. 554-21-86.